

Даниил Гранин

КЛАВДИЯ ВИЛОР

1

В апреле 1942 года Клавдия Денисовна все же добилась, чтобы ее взяли в армию. Она работала лектором горкома, и ее направили на курсы усовершенствования политсостава. По окончании курсов присвоили звание политрука. Три кубика в петлицах и красная звездочка на рукаве. Послали в Краснодар, где находилось Винницкое пехотное училище, — преподавателем социально-экономических дисциплин.

Преподавать она любила и умела; хотя в военном училище она оказалась единственной женщиной, но, в конце концов, это была та же школа, и парни были те же мальчики, чуть повзрослевшие.

Военная форма ей шла. Ей нравились строй, четкость движений, шелк каблуков, отрывистые слова команды... Она чувствовала ответственность каждого своего слова и жеста. Она была не просто преподавателем, она была еще и командиром. На первой же лекции она объяснила происхождение необычной своей фамилии. Вилор — означало: Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Она не захотела брать неблагозвучную фамилию мужа, а муж не соглашался, чтобы она оставила свою девичью фамилию Бурим. Ему, естественно, хотелось, чтобы они и их дети носили одну фамилию, тогда вот она и придумала эту звучную фамилию — Вилор. Ведь это было в тридцатые годы, когда фамилии, имена детей, все хотелось связать с революцией, с коммунизмом.

В середине июня 1942 года, когда началась подготовка к наступлению немецких войск на Юго-Западном направлении, училище срочно в полном составе было направлено на фронт.

Клава Вилор поехала вместе со своими курсантами, назначенная политруком 5-й роты 2-го батальона. Два месяца она участвовала в боях, защищая подступы к Сталинграду. Она ходила в разведку, стреляла, бросала гранаты, она рыла окопы вместе со своими курсантами, а теперь бойцами, налаживала связь, она делала все то, что делали солдаты и командиры рот и взводов на всех фронтах, от ленинградских болот до Кавказских гор. С одной лишь особенностью: она была

женщина. В годы войны мне приходилось встречать женщин-снайперов, пулеметчиц, связисток и, разумеется, санитарок. Известны были летчицы, были даже женщины-танкисты. Но женщина-политрук пехотной роты — такое мне не встречалось. Особенное заключалось тут и в самой фронтовой ее жизни, достаточно, конечно, трудной для женщины, и, главное, в том, что произошло впоследствии — в цепи невероятных происшествий, и положений, и мук, и взлетов, и падений — что опять же проистекало из ее военной должности и звания.

Два месяца боев сделали политрука Клаву Вилор опытным солдатом. За эти шестьдесят с лишним дней вблизи ее головы просвистели тысячи пуль и осколков. Все пространство вокруг нее было сплошь продырявлено свинцом и железом. А сколько раз она сама нажимала спусковой крючок, выдергивала гранатное кольцо, падала ниц, ползла, заряжала.

— ...Утром пошли танки, накрыли нас самолеты, я кричала всем: «Не бойтесь! Кидайте гранаты!»... Тут нас поддержали «катюши». Танки стали отходить, дух у ребят поднялся. Я закричала: «Вперед!» За мной побежали... На разборе боя полковник похвалил мои действия.

Слушая Клавдию Денисовну, я и так и этак пытался представить себе, что вместо нашего комиссара полка Капралова, вместо Медведева, или Саши Ермолаева, или Саши Михайлова была бы у нас комиссаром женщина. Стоило вообразить, и сразу же возникала недоверчивая усмешка. Никак я не мог поставить на место огромного, могучего Саши Ермолаева, с которым мы, лежа на огороде между грядками моркови, обстреливали немецких мотоциклистов, — женщину. Или на место Медведева, который поднимал нас мертво спящих и впихивал в танк, уже заведенный им, разогретый, и потом ехал на башне и все шутил и трепался, свесясь к нам, в открытый люк, пока мы двигались на исходную.

Ну, а все же, если бы на его месте была женщина... В конце концов, мастерство литератора, даже талант литератора в том и состоит, чтобы представить себе: «а что, если бы...», видеть то, чего не видел, что кажется невероятным. Я заставлял себя, пересиливал... и не мог, поэтому и захотелось мне узнать как можно больше об этой необычной судьбе.

— ...Когда ранили командира роты, мне приказали — отвести роту, восемьдесят человек, к совхозу «Приволжский».

Она и сейчас — ничего, настолько живая, энергичная, что возраста ее не замечаешь, она из тех женщин, которые не становятся старухами, сколько бы лет им ни было. Пожилая — да, но не старуха, и тем более не старушка. А тогда, судя по немногим сохранившимся фотографиям, она была женщиной интересной, в полном расцвете, — было ей в 1942 году тридцать пять лет. Коротко стриженная, завитая по тогдашней моде, лицо круглое, правильное, глаза яркие, большие, губы пухлые, но с волевой прямизной, и в ее сощуре глаз — то сильное, чисто женское, связанное с властью семейной, сложной, требующей чутья и понимания сиюминутного смысла событий. Особенно хороша была у нее фигура. И даже плохо подогнанная военная форма не портила ее фигуры, вернее, не могла скрыть ее красоты.

— ...Как-то прислали нам штрафников. Я вышла к ним. «Ты кто?» — спрашивают. «Я политрук». Они завывали, засвистели: «Э-э-э, баба — комиссар!» А я стою, смотрю на них. Усталые они с марша, запыленные, злые. Но мужики — они и есть мужики, и разговаривать с ними надо исключительно как с мужиками. «Вы голодны?» — спрашиваю. И сразу все изменилось. Накормила их, раздобыла им курева...

В женском материнском естестве состояло великое ее преимущество и даже превосходство.

С начала августа полк подвергался непрерывной бомбежке. Завывая, на окопы пикировали самолеты, бомбя и обстреливая. Огненная колесница катилась вдоль фронта с рассвета до темна. От грохочущего, стреляющего неба некуда было укрыться.

Курсанты держались, усмехались криво искусанными в кровь губами. Под взглядом этой женщины они изо всех сил изображали бравых гусаров. Чисто мужская гордость поддерживала малодушных. Само присутствие ее заставляло тянуться. Нельзя было нить, когда она рядом копала траншеи, и становилось совсем стыдно, когда она, баба, поднимала их в атаку. Все же, что бы там ни было, война — дело мужское, и солдат — это мужчина. Она словно бы возбуждала тот самый воинский дух, о котором сама им рассказывала, вычитав из старинной русской книги и запомнив эти прекрасные слова: «Истинному воину присуще мужество и храбрость до забвения опасности, воинственность, благородство, сознание своего долга перед отечеством, вера в свои силы, и в начальников, и в свою военную среду».

Но тут нельзя было пережать.

Приходилось все время искать точную меру, чтобы щадить мужское самолюбие.

«21 августа после мощной авиационной и артиллерийской подготовки противник вынудил правофланговые части 15-й гвардейской стрелковой дивизии отойти от совхоза „Приволжский“, — говорится в истории Сталинградской битвы. 15-я дивизия была соседом курсантского полка. Из-за ее отхода к вечеру немецкие танки появились на стыке с 64-й армией, и курсанты оказались в окружении.

Полк не дрогнул. Прошло то время, когда слово «окружение» у иных вызывало панику. Курсанты продолжали вести бои, держа круговую оборону. Через два дня кончились патроны. Вечером кухня не подошла. Еды не было. Со штабом армии связь прервалась. Немецкие танки прорвались в расположение пятой роты, отсекая ее от полка. Замолчал последний пулемет. Клава бросилась туда, к командиру взвода: «Баранов, почему не стреляешь?» — «Заело!» — крикнул он. Клава рванулась было к пулемету и упала, раненная в правую ногу. Немецкие танки утюжили окопы. Танки были не так страшны, как автоматчики, что двигались за ними. От танка в глубоком окопе можно схорониться. Танкисты в самой близости ничего не видят, они «дальнозорки». А вот автоматчики, строча перед собою, уже прыгали в окопы. Клава, лежа на боку, начала отстреливаться, но тут ей прошило очередью левую ногу.

Все последующие действия и события запомнились в растянуто-тягучих подробностях. Она отстегнула карман гимнастерки, вынула ротные списки коммунистов, комсомольцев, свой партбилет, попросила Баранова зарыть эти документы. Автоматчики приближались. За изломом окопа мелькали их каски. Одиночные выстрелы и очередь, выстрелы и очередь. Немецкая речь. Все громче. Автоматчики бежали и поверху, по брустверу окопов.

Клава попросила Баранова застрелить ее. Она боялась. Фашистский плен — ничего страшнее она не представляла.

— Не говори глупостей, — сказал Баранов. — Я этого не могу сделать. — Он не сумел вернуться от ее глаз и закричал: — Я этого не сделаю. Слышишь? Не сделаю! Может, отобьемся!

Он стал срывать пришитую к рукаву ее гимнастерки красную звездочку — знак политсостава.

— Выдашь себя в крайнем случае за медсестру.

Рядом оказался еще и помкомвзвода, они стреляли, стреляли, не желая оставить ее.

Из-за поворота траншеи выскочили немецкие автоматчики, сшиблись вплотную, навалились...

Солдатская наша жизнь была пронизана затаенным, самым мучительным страхом из всех страхов и ужасов войны — страхом попасть в плен к фашистам. Ни ранения, ни даже смерти так не боялись, как плена. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Лозунг испанских революционеров вошел в быт нашей войны жестокой заповедью: «Лучше смерть, чем плен». Смерть действительно была легче. Но знали мы и то, что война могла подстроить такие ловушки, при которых самых отважных настигала эта беда. Мы знали об этой опасности, это была самая страшная угроза, и бесчестье, и позор...

До сих пор Клавдия Денисовна, рассказывая про этот момент своей жизни, оправдывается, все пытается защититься от всевозможных подозрений. Я знаю, откуда это, редко какой солдат первых лет войны не поймет ее. Мысленно я примериваю эту судьбу.

С первого месяца войны на всю жизнь запомнился мне седой интендант, который сел в лесу на пенек, не в силах дальше уходить в лес от наседавшего на нас немца, отказался от нашей помощи, вынул пистолет и, как только мы отошли, застрелился. Он сделал это спокойно, с достоинством и честью офицера. В годы войны я часто вызывал в памяти образ этого старого интенданта — чтобы найти силы в себе вот так же, до конца, остаться офицером. Во время боя, на миру и смерть красна, в те минуты особых проблем не возникает, куда хуже, когда вдруг окажешься один, как это случилось со мною под деревней Самокражей, когда меня послали с пакетом в штаб дивизии, а вернувшись, я увидел у входа в нашу землянку немецких автоматчиков. Или в Восточной Пруссии, когда мы, проскочив мост, оторвались от своих, и тотчас мост позади взлетел в воздух и наш танк остался один на вражеском берегу перед немецким городом Шталюпенем.

...Тот бой у совхоза «Приволжский» закончился разом, стали слышны стоны раненых, и далеко — стрельба наших пулеметчиков. Полк, там, справа, еще вел бой, а здесь, вокруг, стояли гитлеровцы, наставив автоматы.

Баранов и Борисов, оглушенные, раненные, с трудом вытащили Клаву из окопа, кое-как перебинтовали.

— В случае чего мы тебя на руках понесем, — шептал ей Баранов. — Ты только не отчаивайся, убежим.

Клава была в гимнастерке и брюках. Юбку на штаны она сменила, уберегая своих ребят от насмешек соседнего батальона над «юбочным командиром». Немцы ее потащили, потом заставили идти, пиная прикладами.

По дороге, любопытствуя, гитлеровские солдаты подходили, тыкали ей в грудь, проверяя, женщина ли, удивлялись.

Вскоре узнали (очевидно, кто-то из курсантов проговорился, а может, нашелся предатель), что она политрук, и это вызвало еще большее любопытство. Впрочем, слово политрук сразу заменили на привычное — комиссар... «Женщина-комиссар» — это было нечто новое; потом в лагере ее показывали как диковинку.

А вдали все продолжалась стрельба и бомбежка, и отчаянная надежда на чудо еще теплилась — полк перейдет в наступление и отобьет их. Так ведь бывало во многих фильмах и романах — в самую последнюю минуту нагрянут наши. Полк продолжал бой. Она это слышала. Ее волочили все дальше от переднего края, раненная в обе ноги, она не могла даже вырваться, побежать, так чтобы подставить себя под пули.

Пройдет много лет, прежде чем она узнает, что остатки курсантского полка Винницкого пехотного училища действительно героически держались до поздней ночи и в темноте, прорвав вражеское кольцо, двинулись сквозь немецкие боевые порядки. Три колоннами они продвигались; спереди, развернутым строем — рота автоматчиков, уничтожая на пути встречающиеся патрули, линии связи, и так шли всю ночь, пока не соединились с нашими частями. Они прошли двенадцать километров, сохранив свое оружие, артиллерию.

Прочтет это она в книгах лишь в шестидесятом году — про славный исход последнего своего

боя.

— ...Всю ночь наши самолеты нещадно бомбили гитлеровцев, а я мечтала об одном, чтобы упала бомба и убила меня, только не оставаться в ужасном плену, у немцев.

В общении с Клавдией Денисовной надо было преодолеть ее боязнь недоверия. Чувство это у нее воспаленное. Она все время предъявляла доказательства — письма, вырезки, справки...

2

А что же меня заставляло собирать и восстанавливать шаг за шагом эту ее долгую историю? Война накопила много подобных историй, героических, открывающих новые, невиданные пределы человеческого духа. Еще одна? Ну что ж, еще одна. Но есть в ней, в этой истории Клавы Вилор, своя отдельность, хотя у каждой военной судьбы есть свое, непохожее. Так вот, прежде всего нельзя было пройти мимо этой истории. Наше писательское дело — собирать их, и как можно тщательнее, факт за фактом, свидетельство за свидетельством, там видно будет, что из них пригодится.

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется,

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать.

В этих стихах Тютчева, которые, наверно, ныне можно понимать разное, слово «сочувствие» открыло мне смысл моего влечения к истории Клавы Вилор. Именно сочувствие подтолкнуло меня, Тютчев прав, все соображения ума можно опровергнуть, на доводы найти другие доводы, а вот сочувствие дается помимо логики, соображений пользы; сочувствие приходит в душу теми тайными путями, какими достигают и действуют на нас музыка, краски, стихи. История, пережитая Клавдией Вилор, вызывала прежде всего сочувствие, открыла возможности человеческой души, о которых я не подозревал и которые поэтому хочется приобщить к портрету воина Великой Отечественной войны.

...Военнопленных свозили к озеру Цаца. Клава вышла из машины, опираясь на кого-то из ребят. Раненые ноги ее были обмотаны тряпками, коричневыми от крови. Тошнотная слабость охватила ее, голова кружилась, пот холодными каплями стекал по телу. Ей бросили шинель, она повалилась на нее. Курсанты, ее курсанты, окружили ее. Мальчики — растерянные, испуганные — смотрели на нее с ожиданием.

Она лежала перед ними, все силы собрав, чтобы не разрыдаться. Это из-за них она не могла ни плакать, ни кричать от страха, от боли, от стыда. Она должна была показать им пример той стойкости, которой она учила их. Всего три месяца назад они сидели перед ней в аудитории за партами, и она читала им лекции про гражданскую войну, про коммунистов на войне, про Чапаева и Фурманова, про Фрунзе, про Ленина на Десятом съезде. Про Гастелло и Зою и про героизм русского народа в Отечественной войне двенадцатого года. Она убежденно повторяла это, переходя из аудитории в аудиторию, соответственно программе и

расписанию. Про комиссаров, которые формировали и воодушевляли отвагой молодую Красную Армию, а также насаждали дух дисциплины... Канцелярские обороты, из которых она старалась вырваться, обесцвеченные слова, которые она изгоняла, сейчас вдруг свежо и грозно вспыхнули в ее обмирающем сознании. Слова эти обернулись на нее, слова, когда-то ею произнесенные, они обступили ее в виде этих юнцов обескровленно-бледных, с глазами, где загоралась и гасла остаточная надежда.

Втайне Клава завидовала тем командирам, что преподавали матчасть, тактику. Там была вещественность. В кабинетах у них стояла всякая техника, ящики с зелеными холмами и голубыми озерами из стекла, висели карты, таблицы. А у нее были только слова. Теперь она должна была оправдать все произнесенные ею когда-то слова, высокие слова, которые она спрашивала с этих мальчиков...

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется...

Подошел гестаповец с переводчиком и фотографом. Клава поднялась. Фотограф наставил объектив... Если бы ее повели на расстрел, она знала бы, как себя вести. Она решила ничего не бояться и показать пример своим. Она подготовилась ко всему, но не к фотоаппарату. Она закрыла лицо руками, испугалась, что снимут, напечатают фотографию в фашистских газетах и ее имя будет навеки опозорено.

Офицер ударил ее плеткой, ей скрутили руки и все же сфотографировали. Спустя какое-то время стали выкрикивать: «Политрук пятой роты Вилор Клавдия Денисовна!» Ее подняли, тыча в спину пистолетом, повели к обрыву, поставили лицом к озеру Цаца — начали так называемый публичный допрос. Спрашивали громко, чтобы пленные, стоящие кругом, слышали. Кто здесь коммунисты, кто комиссары, кто евреи? Кто какие должности занимал? Почему она, женщина, пошла в армию, разве у большевиков не хватает мужчин? Какие лекции она читала курсантам, чему учила?

Отвечала она без вызова, без крика, с подчеркнутой вежливостью, наконец-то она могла подать ребятам пример, чем-то оправдаться. Перед всеми. Хотя бы своим спокойствием. Хорошо, что у нее есть слушатели.

Где находится двадцать пятая Дальневосточная танковая армия, которая прибыла под Сталинград?

— Первый раз слышу про такую армию.

— Покажите комиссаров.

— Я недавно в училище и мало кого знаю.

Снизу от озера тянуло прохладой, виднелись заволжские дали, дрожащие в мареве августовской жары. Плясала мошка, пахло полынью — все было, как в детские летние дни под Ставрополем, где жили они огромной своей семьей. Откуда ж тут немецкая речь? Звуки эти были невероятные, явь превращалась в сон.

— Какие лекции ты читала своим бойцам?

Вот это она могла рассказать — о патриотизме, о любви к Отечеству, о верности воинскому долгу...

Ее ударили в лицо. И прекрасно. Это была первая победа. Пусть все видят. Здоровые немецкие офицеры бьют пленную, бьют женщину, израненную, еле стоящую на простреленных ногах. Она обтерла кровь, спросила, продолжать ли. Тоска перед близкой смертью словно бы расступилась, осталась внизу, и Клава всплыла, чувство было даже сильнее, будто бы она воспарила в последнем усилии — она, женщина, принимала муки на глазах своих однополчан и не согнулась, не испугалась, хоть этим-то искупая позор плена. Она утешала себя, что пример ее чем-то поможет курсантам, прибодрит их...

Ее били. Потом заставили идти к машине. Каждый шаг вызывал обморочную боль. Она вскрикивала, стонала, и вместо слез крупные капли пота катились по лицу. Трое немцев подняли ее в кузов.

— Прощайте, товарищи! — крикнула она, уверенная, что это последний ее путь. Но путь ее только начинался.

Дальше Клавдия Денисовна рассказывать не может. То есть вот так подряд, связно — не может. Глаза ее наполняются слезами, губы дрожат, ужас нарастает в глазах. До сих пор она не в состоянии отстраниться от того, что с ней было. Тридцать лет не отдалили, а словно бы приблизили прошедшее. Первые годы после войны она как-то лучше владела собой.

Приходится пользоваться записями и документами тех лет. Кроме того, я слушаю рассказы ее дочери, мужа, друзей, наконец однополчан, и из всего этого что-то складывается.

Машина въехала в большой двор, там было устроено немецкое кладбище. Солдаты вытащили ее, дали лопату, заставили копать могилу. Клава отказалась. Она легла на землю, потребовала расстрела. Ей хотелось одного — чтобы скорее все кончилось. Переводчика не было, она показала на пальцах — стреляйте. Над ней посмеялись: это кладбище для немцев, а не для русских политруков. Расстреливать на немецком кладбище — это неприлично, это не принято.

Опять появился фотограф, стал совать ей в рот сигарету, чтобы заснять русскую бабу, «комиссара-проститутку», как объяснил он офицеру.

Она выплевывала, отворачивалась. Сперва ее упрашивали, потом били, но по сравнению с болью в ногах это были пустяки. Она хотела расстрела и покоя. Пуля принималась как прекращение боли и тоскливого этого сна. Расстрел становился целью оставшейся жизни.

Снова везли.

Вдоль дороги лежали трупы красноармейцев. Она всматривалась в искаженные смертью лица, в невероятные повороты голов, скрюченные руки — ее ждало то же самое, скоро и она станет мертвой, не узнаваемой ни для кого, останется без охраны, без собак, без этого назойливого, пакостного любопытства. Поскольку расстрел был неотвратим, то лучше умереть скорее.

Некоторые раненые ползли сюда, к шоссе, и гитлеровцы пристреливали их с проходящих машин. Колонны машин тянулись к Сталинграду. Озеро Цаца, Плодовитое, Абганерово — спустя годы она будет читать в книгах, в мемуарах об этих исторических пунктах великой Сталинградской битвы. Через них пойдут стрелы, начертанные в картах гитлеровской Ставки, а спустя несколько месяцев, в октябре — другие, красные стрелы пронизут их на карте Ставки Верховного Главнокомандования в Москве, изогнутся огромной петлей нашего окружения.

Вот тогда-то окажется, что бои, которые ей пришлось пережить, шли на самом главном направлении. Солдат никогда не знает, какой бой ему выпадет на долю — решающий или же вспомогательный, местного значения или стратегического, входящего в замысел высшего командования, не знает об этом и его командир, в том-то и секрет войны, что любой бой может оказаться историческим, тем самым Бородином или Сталинградом, который приведет к перелому войны.

Откуда ей, политруку Клавдии Вилор, было знать, что Сталинград окажется тем самым Сталинградом?

Откуда ей было знать, что на Сталинграде столкнулось все накопленное взаимное упорство войны, ярость войны? Она понятия не имела, какие усилия предпринимала Ставка, отправляя сюда, к Волге, части, которые еще формировались, бросая последние резервы, лишь бы помешать немецко-фашистским войскам выйти к Волге.

Высшие стратегические соображения воплотились для солдат и для Клавы Вилор в одну фразу приказа № 227: «Ни шагу назад!»

Под вечер ее привезли в штаб какой-то части, в село Плодовитое. Гестаповец сносно говорил по-русски. Военные сведения его не интересовали. Его занимало другое — почему она, женщина, оказалась в армии на такой должности? Во время допроса связной принес пакет. Гестаповец вскрыл, прочитал:

— Ах, значит, ты и есть Вилор? Ви-лор, В-и-л-о-р...

С улыбочкой он расшифровал букву за буквой. В бумаге все было сказано, да Клава и сама не скрывала. Ото, какая она революционерка. Стопроцентная, вплоть до фамилии. Ну, что ж, подходящий экземпляр для эксперимента. Берется чистая, без всяких вредных примесей, без страха и сомнений, коммунистка, и проверяются на ней разные приемы воздействия.

Она предпочитала немедленный расстрел, он успокоил ее: капут будет, пусть не беспокоится, только не сразу.

Воздушным налетом прервало допрос. Немцы побежали в укрытия. Клаву увели к церкви, наполненной сотнями военнопленных. Внутрь не ввели, оставили на паперти рядом с часовыми. Вокруг сновали женщины. Пользуясь тревогой, они пробовали передать пленным узелки с картошкой, хлебом, салом. Охрана отгоняла их, Клава, улучив момент, попросила принести ей какое-нибудь платье. На ней висели остатки разодранных штанов, под ними — мужские кальсоны, икры завернуты обмотками, которые служили бинтами. Она хотела перед смертью переодеться во что-то пристойное, обрядиться. Была тут и чисто женская потребность... Вскоре одна из женщин вернулась с платьем — обычным ситцевым, которое показалось Клаве лучше всех нарядов, что когда-нибудь ей шили. Больные ноги подвели ее — нагнулась, вскрикнула от боли, и часовой заметил сверток, вырвал и тут же изорвал платье.

Гитлеровцы понимали, что, будь на ней обычное женское платье, ей стало бы легче, а ей не должно быть легче.

На всякий случай они обыскали ее. Велели раздеться, срывали с нее гимнастерку, все ее лохмотья... В сапогах нашли часы. Ее, дамские, и часы заместителя командира роты Татаринцева, погибшего в прошлом бою. Она собиралась отослать их его семье и не успела. Письмо написать тоже не успела. Пока немецкие солдаты делили найденные часы, какая-то женщина бросила ей кофточку. Клава ее надела, зеленую, трикотажную, великоватую в плечах, до сих пор она помнит спасительную эту кофту.

Гестаповец позвал из церкви военнопленных, стал спрашивать: «Расскажите, чему она вас

учила? Что она читала вам из газет?» Она стояла перед ними раздетая, беспомощная и, казалось, униженная. Ей думалось, что и курсанты смотрели на нее отчужденно. Гестаповец бил ее и спрашивал: «Это она требовала, чтобы вы умирали за власть комиссаров?.. Чем она еще заморочила вам головы?»

Ночью всех военнопленных загнали в церковь. Народу набилось столько, что сесть никто не мог, все стояли, прижатые, плечом к плечу. Когда Клаву втокнули туда, она застонала. Малейшее прикосновение к избитому телу вызывало страшную боль. Курсанты, ее курсанты, совершили невозможное, они раздвинулись, отжали толпу так, чтобы Клава могла лечь. Узнав, в чем дело, мужчины теснились, ей постелили шинели, и она легла. Вокруг нее стояли всю ночь сотни людей. В голубой росписи купола на пухлом облаке плыл Саваоф, бессильный и в своей ярости, и в своей любви.

Ей дали лечь — единственное, что ее курсанты могли для нее сделать. Долго, бесконечно долго длилась эта ночь... «Ничего, не беспокойся, — сказал Клаве какой-то пожилой контуженный артиллерист, — это хорошо, когда есть о ком заботиться, это очень нам сейчас нужно».

Утром они расстались. Пленных погнали дальше, а Клаву повезли в штаб возле Котельникова, опять били, опять спрашивали, сколько убила немцев, в чем состояла ее политработа...

3

Многое, из того, что происходило в войну, кажется ныне непостижимым. Кажется, что вынести это невозможно. Совершить это человеческому духу и организму невероятно — невероятно даже с точки зрения чисто физиологических ресурсов, с точки зрения медицинских законов. Многое невероятно так же, как, например, невероятным кажется то, что происходило в ленинградскую блокаду с людьми, которые жили, работали, существовали, хотя они «должны были» давно умереть. Судеб таких достаточно много для того, чтобы чудо человеческого духа предстало перед нами именно чудом, непонятным, невозможным, необъяснимым.

Все-таки, несомненно, помимо каких-то физических законов, связанных с энергией человека, с условиями превращения этой энергии в движение, в речь, в зрение, во все человеческие чувства, — помимо этих законов существует еще не понятый ни медициной, ни физикой, ни даже самим человеком закон силы духа человеческого. Откуда черпаются эти силы — из веры, из идеи, из любви к Родине, как это все происходит, — не знает в точности ни психология, ни этика, ни искусство. История сохраняет примеры таких подвигов духа, легендарные, как Жанна д'Арк, и нынешние, как Зоя Космодемьянская.

Когда конвоир передавал Клаву поездной охране, не было произнесено ни слова «политрук», ни слова «комиссар». Клава заметила это, решила воспользоваться и сказала на платформе громко, чтобы слышно было: «Я — медсестра». Выглядело правдоподобно. И относились к ней по дороге несравнимо с тем, как если бы знали, что она политрук. Ее не истязали, на остановке даже накормили бурдой. То же продолжалось и в концлагере, куда ее привезли. Может быть, документы запаздывали, во всяком случае немецкий порядок давал сбой. Версия о медсестре пока действовала.

Так она получила передышку. Главной же радостью было то, что в Ремонтновском лагере она встретила своих комвзводов Баранова, Борисова и командира батальона Носенко. Они уговаривались бежать. Лагерь был пересыльный, и они боялись, что их повезут еще дальше в немецкий тыл, а оттуда бежать к фронту будет труднее. Надо было постараться бежать

сейчас, пока слышна канонада. Они хотели взять Клаву. С часу на час должно было выясниться, что она вовсе не медсестра — у немцев были заведены документы на нее, — и как только это выяснится, ясно, что ее забьют, она не вынесет. Во всяком случае, сил для побега у нее не хватит.

Многие тогда задумывали побег. Однако охрану в лагере усилили. Побег сорвался. Тогда Носенко решил выдавать Клаву за свою жену. Хоть как-то это могло — надеялись — защитить ее от избиений. Носенко был капитан и знаков отличия не снимал: наоборот, подчеркивал свое офицерское звание и требовал к себе соответственного отношения. Поначалу это действовало: его не били, на время оставили в покое.

Пошла третья неделя плена. Их почти не кормили. Носенко одной рукой опирался на палку, другой поддерживал Клаву. При малейшей возможности он старался выстирать свой подворотничок, почистить сапоги. Он выделялся своим аккуратным видом.

Куда-то опять везли на машинах. Гнали пешком сквозь жару. Менялись лагеря. И всюду кричали, раздавались слова команды, лай собак, удары... Снова машины, снова дороги. Опять какие-то сараи, пыль, жара. Сознание путалось... Клава помнила тоску страдающего тела, руку Носенко и нарастающее свое желание скорее оборвать все это, умереть. Она понимала, что вряд ли ей удастся отсюда выбраться, она только тяготит своих друзей — и Носенко, и Баранов, они из-за нее гибнут.

И вот — снова Котельниково, снова допрашивали. А потом уже не задавали вопросов, только били. Все немцы для нее разделились: на тех, кто бьет и кто не бьет; и те, которые били, тоже делились по тому, как больно били. Среди этого кошмара запомнился улыбчивый, кудрявый штабной офицер, который бил каждый раз в живот, только в живот. Он отбил почки, вскоре после этого она стала страдать недержанием мочи.

Приказ 6-й гитлеровской армии о наступлении на Сталинград начинался так:

«1. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высоты на восточном берегу Дона, западнее Сталинграда, и на большую глубину оборудовали там позиции... Возможно, в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления...»

В соответствии с этими планами 14-й танковый корпус немцев 23 августа, после ожесточенного боя, сумел прорваться к Волге и отрезать нашу 62-ю армию, а наутро следующего дня немецкие танки начали наступление на Тракторный завод. Они должны были взять его с ходу, но не смогли.

В тот день, когда Клаву отвели на вокзал и посадили на открытую платформу с другими военнопленными, — в этот самый день 14-й танковый корпус немцев был отрезан от своих тылов. Войска Сталинградского фронта атаковали его с фланга. Наступали критические дни Сталинграда. Ставка вызвала Жукова с Западного фронта и послала его в Сталинград. Дивизии, танки, машины, все, что было возможно, посылали под Сталинград.

Кажется, это было в Цимлянском лагере. Она плюхнулась на землю у самых ворот. Дальше не могла идти. Она лежала лицом вниз. Перед ней остановились немецкие офицерские сапоги. Плохо выговаривая по-русски, спросили:

— Кто такая?

— Медсестра.

Немец удивился. Может быть, в руках у него были какие-то списки? Клава не знала. Она не могла даже поднять головы, повернуться. Она не хотела повернуться и посмотреть. «Медсестра? Откуда медсестра?» — озадаченно бормотал он. Отошел. А через несколько минут по лагерю загремел голос: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор! На допрос в штаб!»

Клава лежала. К ней подошли и, пиная ногами, подняли. Привели в штаб. Увидев стул, она, не ожидая разрешения, повалилась на него.

— Встать! — закричал офицер и стал бить ее палкой. На конце палки был гвоздь. Она этого не видела, а почувствовала этот гвоздь. Ей надо было подняться. Она не сумела. Она кричала, что-то выкрикивала и никак не могла заплакать. Слезы исчезли. Слезы, которые всегда помогали ей, как помогают каждой женщине, — не появлялись. Она не могла плакать. Было слишком больно, слишком тяжело, все было за пределами слез.

Это происходило 29 августа 1942 года.

«В это время я поддерживал весьма тесный и приятный контакт с этими американскими офицерами (Эйзенхауэр и Кларк). С момента их прибытия в июне я — обычно по вторникам — устраивал завтраки на Даунинг-стрит в 10 утра. Эти встречи, казалось, были удачны. Я почти всегда был один с ними, и мы подробно обсудили все дела, как будто бы мы были представителями одной страны. Я придавал большое значение таким личным контактам. Моим американским гостям, и особенно генералу Эйзенхауэру, очень нравилась тушеная баранина с луком и картофелем. Моей жене всегда удавалось обеспечить, чтобы это блюдо было приготовлено.

Мы также провели ряд неофициальных совещаний в нашей нижней столовой. Начинались они в 10 утра и продолжались до поздней ночи, и каждый раз мы говорили только о деле. Но в этот момент из Вашингтона пришло неожиданное известие, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Между английскими и американскими начальниками штабов возникли значительные разногласия относительно характера и размаха нашего вторжения в Северную Африку и оккупации этого района. Американским начальником штабов не нравилась сама идея участия в широкой операции за Гибралтарским проливом. Они, видимо, считали, что в какой-то момент их армии будут отрезаны в районе этого внутреннего моря. Генерал Эйзенхауэр, с другой стороны, полностью разделял английскую точку зрения, что энергичные действия в районе Средиземного моря, и прежде всего в Алжире, крайне необходимы для успеха дела. Его точка зрения в той мере, в какой он настаивал на ней, видимо, не оказала влияния на его военное начальство».

(Уинстон Черчилль. «Вторая мировая война», т.4, стр.517.)

— Ты почему врешь, что ты медсестра? — кричал штабист. — Ты комиссар, ты проститутка. Ты многих немцев уничтожила. Сами твои курсанты признались.

Немец был высокий, чистый, Клава смотрела на него и представляла, как он мылся сегодня утром, с мылом... Много чистой холодной воды и мыла.

— Да, я стреляла, — сказала она, медленно шевеля пересохшими губами. — На то война. Вы тоже стреляете и много наших уничтожили.

Офицер спросил ее: кто этот капитан, который вел ее? Клава сказала, что он ее муж. Это

вызвало веселье: «Семья!» Такого еще не было, не попадалось: жена — комиссар, муж — командир. «Значит, что же? Муж и жена командовали вместе?!» Привели Носенко. Он подтвердил, что Клава — его жена. Тут началось зубоскальство и всякие сальные шуточки. Носенко слушал внимательно. Он не возражал, не возмущался. А потом вытащил, аккуратно расправил немецкую листовку и прочел выпендренные заявления о гуманности немецкого командования к русским военнопленным.

— Почему же вы так обращаетесь с нами? — сказал он. — Вы ведь нарушаете свои заверения.

На это ему было сказано, что листовка рассчитана на тех, кто добровольно переходит к немцам.

— Извините, — вежливо сказал Носенко. — Здесь сказано точно — не «перебежчики», а «военнопленные», то есть попавшие в плен. Согласно условиям, вами же сформулированным, вы не имеете права допрашивать военнопленных русских офицеров и тем более избивать женщину, независимо от того — медсестра она или из политсостава. И в том, и в другом случае она относится к военнопленным. Я требую к себе и к моей жене гуманного отношения.

Его четкая педантичная речь почему-то произвела впечатление. Наивность его была непритворна. Он требовал с убежденностью человека, который доверяет печатному слову.

Им выделили угол в бараке и оставили там до утра. Носенко уложил Клаву. Они впервые могли спокойно, не торопясь, обговорить свое положение. Впрочем, что они могли придумать или изобрести? О побеге нечего было и мечтать — уж слишком они были истощены и обессилены. Немцы угрожали отправить их в Германию, продемонстрировать там уникальную пару: муж — командир, жена — комиссар! Скорее всего, так или иначе выяснится, что никакие они не муж и жена, и получится только хуже.

Носенко пришел к выводу, что Клаве нет смысла снова выдавать себя за медсестру. После этого ее только больше избивают. Наоборот, следует вести себя дерзко, ошеломлять их. Может быть, так и надо было. Но у Клавы на это уже не было сил. Однажды она решилась на такое поведение и не выдержала, отступила. Не хватило духу. Ей бы выиграть хоть два-три дня, немного отойти, передохнуть. Поэтому она так ухватилась за версию медсестры и не могла отказаться от нее.

Носенко продолжал ее убеждать. И вдруг она согласилась, с тайной надеждой, что комиссарское звание скорее приведет к расстрелу. Боль была главным врагом. Боль высасывала всю волю, мысли, лишала возможности понять, что происходит, путала сознание...

Женщина-комиссар была той диковинкой, как бы деликатесом, которым гестаповцы угощали разных начальников. То и дело Клаву вызывали на допрос, а точнее, не на допрос, а на показ. И вопросы были с шуточками, пакостные, у всех одни и те же, и те же улыбки, ухмылки.

Повезли в город Шахты. Опять — концлагерь. (Сколько их было, концлагерей!) Как только Клава вылезла из машины — а это тоже было мучительно, потому что прыгать на израненные ноги было невозможно, — как только она ступила на землю, в лагере уже кричали: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор!»

— Я комиссар Вилор! — отозвалась Клава и шагнула, опираясь на руку Носенко.

Подбежали немецкие солдаты, оттолкнули прикладами Носенко и повели Клаву в штаб.

Все повторялось — угрозы, ругательства. И в этом повторении, монотонном, не действующем на чувства, ее уже ничто не могло ни обидеть, ни оскорбить. К ней мало что доходило. Они были все одинаковы. Ругались без выдумки, грозили одним и тем же — «расстреляем!», «повесим!»; «будем водить по Германии на веревке!». В этом повторе было даже нечто успокаивающее. Успокаивало, что они не могли придумать больше ничего пугающего. Они исчерпали все ужасы с самого начала, и от повторения угрозы становились все менее страшными.

В чем-то следуя Носенко, Клава, ссылаясь на международное право, потребовала поместить ее в отдельную комнату, как женщину, имеющую ранения. На все выкрики она отвечала твердо и строго: «Вы не имеете права держать меня вместе с военнопленными-мужчинами». Она повторяла эту фразу, почти не слыша себя, чувствуя только, как шевелится тяжелый, царапающий язык. Да, может быть, и саму фразу ей подсказал Носенко.

Она вообще не участвовала в том, что происходило. Действовала какая-то женщина, которая была снаружи, которая двигалась, говорила, стонала, а сама-то Клава внутри скорчилась в комок и застыла, занемев, лишь бы ее не обнаружили внутри этой измученной, воющей оболочки.

Что за такое международное право, есть ли оно на самом деле — она и сама толком не знала. Но, может, и эти гитлеровские унтеры этого не знали. Во всяком случае, они, поговорив между собой, отвели ее в маленькую комнату, где на цементном полу уже сидели две женщины. У Клавы была с собой плащ-палатка, отданная ей Носенко. Она расстелила ее, и все три женщины легли.

Утром опять был допрос. Опять были крики коменданта, крики переводчика. Заходили любопытные офицеры. У стен стояли двое из училища — командир взвода Морозов и командир роты Федосов. Их перед этим допрашивали о Клавдии Вилор.

— Вот она, которая командовала вашими солдатами, учила вас, как жить!

«Вот она» — должно было означать: «Смотрите, кто вами командовал! Смотрите на это ковыляющее, изможденное, потерявшее всякую женскую привлекательность существо, в лохмотьях, грязное, простоволосое, жалкое! Это существо в кровоподтеках, синяках, от которого несет мочой! И вы, офицеры, позволяли ей командовать наравне с вами!»

Какую цель преследовали эти бесконечные допросы и избиения? Никакими особо ценными военными секретами Клава не обладала. Вряд ли гитлеровцы рассчитывали раздобыть у нее какие-либо значительные сведения. Может, и их чем-то озадачивала ее личность! Существование такой, никакими разведками еще не предсказанной, фигуры женщины-политработника? Может, они хотели понять: что же перед ними такое — случайность или новая сила противника? Что же это, от отчаяния берут женщин на такую работу или тут есть какой-то расчет? Может быть, им нужно было что-то уяснить себе?

Уже не первый раз я ловлю себя на том, что хочется найти какие-то мотивы их поведения. А раньше этого не было. Раньше мы не искали причин и мотивов фашистской жестокости. Раньше все было почему-то ясно: фашисты мучили наших, уничтожали, потому что они фашисты. И мы их ненавидели, потому что ненавидели фашизм. Они решили нас истребить, уничтожить, захватить нашу Родину... И мы должны были стрелять, уничтожать их.

Клава стояла в углу, заложив руки за спину, — не стояла, а лежала на стенке. Комендант ходил перед нею, время от времени хлестал Клаву по ногам плеткой. Она не могла удержаться, вскрикивала. Хотя ей было стыдно за свою слабость перед товарищами, как она ни силилась, она не могла остановить стон.

— Видите, — комендант показал плеткой на нее, — кому вы подчинялись? Какие же вы офицеры?

Федосов стоял тоже у стены.

— Личный состав любил и уважал товарища Вилор, — сказал и обеспокоенно покосился на Клаву: не сделал ли он ей хуже таким признанием?

— Справедливый она человек и храбрый, — подтвердил Морозов. — Кому хочешь в пример.

От этих слов Клаве хотелось заплакать. Какое было бы счастье, если бы она смогла плакать. Их признания, здесь, в плену, были дороже любых наград и поощрений. До сих пор она помнит эти слова как самое дорогое, что случилось в ее пленной жизни.

Комендант размахнулся и на этот раз ожег ее плеткой так, что она упала. Он пнул ее ногой, приказал утащить в соседнюю комнату.

— Тебе сегодня капут, — сказал он вслед.

Возможно, ей пришлось бы легче, если б командиры отозвались о ней как-нибудь пренебрежительно, и, как знать, тогда судьба ее в немецком плену сложилась бы не так тяжело. Вероятно, они тут же сами пожалели о своих словах, видя, как комендант озлился и исхлестал ее. Вряд ли они поняли, что Клаве эти слова помогли. Эти слова были как итог ее военной службы, — итог, потому что жить ей больше не хотелось. Хорошо было бы заснуть и не проснуться!

Когда она открыла глаза, перед ней стояли капитан Носенко и старший лейтенант Демьяненко. В одной руке у Демьяненко была бутылка, в другой — огурец. В плену все сопоставляется и понимается мгновенно, без слов. «Предатель!» — поняла Клава. Да он и не скрывал этого. Он подтвердил, что сегодня ее расстреляют, и стал рассказывать, как и когда он перешел к немцам.

Капитан Носенко, ее нареченный муж, молчал. Костистое лицо его ничего не выражало. Но обостренным своим чутьем Клава уловила в глазах его не жалость, а отстраненность, холодную, чужую. И она сразу увидела себя со стороны так, как они видели сейчас ее, — изуродованную, страшную, безобразно растерзанную, лежащую на полу с раздвинутыми от боли ногами. Этот человек, которому она всегда нравилась, смотрел на нее взглядом, от которого вся ее женская суть возопила. Казалось, что уже ничто не могло поранить ее душу, так ведь нет, нашлась еще одна боль! Не кует тебя, так плющит тебя! От Демьяненко отвернулась, так вот на это напоролась — на такой взгляд Носенко! Со всех сторон обступило!..

Это длилось недолго, мгновение. Носенко притушил свой взгляд и стал рассказывать, как его допрашивали и сказали, что если он не откажется от Клавдии Вилор, то его расстреляют вместе с ней. Немцам стало известно, что у него есть жена и ребенок в Краснодаре, — известно из допросов других курсантов. В конце концов, он не мог больше этого скрывать, отказываться и сказал все как есть.

Он не оправдывался перед Клавой. Да и какое право она имела требовать, чтобы он не признавался? Почему он должен идти с ней под расстрел? Ради чего? Он не мог ее ни выручить, ни спасти. Но в ту минуту она не слышала никаких доводов. Она ненавидела их

обоих и презирала их.

— Спасайте, спасайте свою шкуру! — кричала она, соединив этих двоих словами «предатели, изменники».

Несправедливо, нечестно было называть капитана Носенко изменником, но она его ненавидела в этот момент сильнее, чем этого немецкого прихвостня Демьяненко.

Лоб у Носенко стал белым, и глаза побелели от бешенства.

— Спасибо! — он поклонился. — Спасибо вам за все!

Взгляд его упал на плащ-палатку.

— А это отдайте! Зачем вам от изменника.

Наутро опять допрос, красные лица расплывались, что-то кричали, дышали в затылок. Она закрывала глаза. Они не исчезали... Они покачивались, забирались под веки, в череп и там стучали в виски.

Слышался крик Демьяненко: «Эта сволочь была самая активная у нас!»

Кто-то что-то шептал ей. Боль появлялась в разных местах. Клава кричала, соглашаясь на все, обещая, умоляя. Но как только боль отходила, она погружалась в молчание и лежала, стиснув зубы, ни на что не отзываясь. Так ничего и не добившись, ее бросили во дворе, сказав, что завтра отвезут в Сталине и там скинут в один из шурфов.

И как только это было решено, все круто изменилось. С ней вдруг стали все откровенны и спокойны. Она была приговорена. Она была выведена за ту незримую черту, за которой кончились все страхи — и ее собственные, и страхи этих людей — перед тем, что она могла кого-то выдать, или пересказать, или передать их признания. Она была выведена из круга страстей человеческих. Никто не мог представить себе, что все эти слова и признания, которыми люди почему-то вдруг захотели поделиться с ней, как на исповеди, — все они сохранятся, запечатленные в ее мозгу, и через несколько лет определят судьбу многих.

Как они сохранились в ее памяти? Как они отпечатывались? Она ведь даже плохо слышала эти голоса. Они доходили к ней сквозь какой-то розовый туман, что колыхался в ее голове. Но память продолжала фиксировать все, как будто память знала заранее то, что предстоит, и то, что будет когда-то о них спрашивать и выяснять.

Военнопленных грузили на машины. Они шли по двору, перешагивая через Клаву. Кто-то наклонился, что-то говорил ей. Потом перед ней присел Носенко, протянул ей кусок хлеба и огурец.

— Пожалуйста, — попросил он, — возьми!

Она не смогла удержаться и взяла. Он сидел на корточках и смотрел, как она ест.

Демьяненко удивился: зачем Носенко ее кормит? С какой стати? Ей все равно капут. Зачем зря еду переводить?

— Увидят немцы, и будет тебе хана, — предупредил он. — С ней разговаривать незачем.

Когда он отошел, Носенко сказал, что, судя по всему, Демьяненко решил поступить в добровольческую армию и его следует остерегаться.

— Вот и остерегайся, — сказала Клава. — И отойди от меня, и говори, что знать меня не

знаешь. Веди себя примерно. Может, понравишься.

Она не научилась еще в те дни прощать даже минутные слабости. Она ненавидела в себе измученную, ноющую и болящую плоть.

— Уродина я? — вдруг спросила она у Носенко. И это тоже была слабость.

4

Сталинград горел... Город был как костер. Горели целые улицы, кварталы, горел асфальт.

Городской комитет обороны мобилизовал к 30 августа две тысячи стрелков-минометчиков. В городском саду им выдавали оружие, и армейские командиры вводили тут же сформированные батальоны на фронт. Военнообязанных тысячами вывозили на левый берег Волги.

...Машина везла Клавдию Вилор все дальше в немецкий тыл.

В грузовике, рядом с Клавой, сидели две женщины — полячка и русская Галя, беременная. Галя все время плакала. Мужчины сидели молча, опустив головы. «Обстановка уныния — обстановка подлости», — сказала себе Клава. Уныние — как безверие, это путь к предательству.

Боль вдруг ушла, спустилась куда-то к ногам. Надо было что-то делать. Она была политрук, а вокруг нее были люди, были бойцы, пусть военнопленные, но все равно бойцы. Командир — тот без своей части перестает быть командиром, а политрук всегда остается политруком, особенно когда рядом есть люди. Такая это должность. Работа, которая требует откуда-то черпать бодрость, силу духа, веру и щедро оделять ими всех окружающих. А откуда брать эту бодрость? Где пополнять ее запасы?..

Что же она могла сделать? Единственно, на что у нее хватило сил, — это запеть. Сперва она запела что-то бодрое — «Смелого пуля боится, смелого штык не берет...». Но это на людей не действовало: слишком это было далеко от их нынешнего состояния. Тогда она запела «В темном лесе...», а потом вспомнила свадебную, грустную — «Не заря ль ты моя, зорюшка, не заря ль моя вечерняя...».

В той дальней, совершенно невероятной, мирной жизни она и мать были в семье единственными женскими голосами. Все остальные в семье — мужчины: двенадцать братьев и отец. И когда они пели, то женскими голосами поднять могли песню только она с матерью.

Она пела и вспоминала семейные вечера — «Вечерний звон» и потом любимую старшего брата — «Выхожу один я на дорогу». Да, песни были грустные. Мужчины отворачивались, сморкались. Она чувствовала, что это было то, что нужно. Она чувствовала это по собственной душе — где что-то очищалось, светлело. И когда Демьяненко, что сидел в той же машине, закричал: «Кончай петь! Ты, политрук, заткнись, а то из-за тебя всем попадет!» — ему сказали тихо, разом: «Молчи уж! Не учи!»

Первое, что они увидели во дворе концлагеря в Сталине, были огромные ямы. Туда кидали умерших от голода и ран военнопленных. Это был лагерь страшнее пересыльных лагерей, которые она прошла. Здесь происходила сортировка. Штаб гестапо перебирал поступающих военнопленных: кого — в добровольческую армию, кого — на работу в Германию, безнадежных, не годных ни к тому, ни к другому, — на расстрел. Огромная штабная машина работала с утра до поздней ночи.

Носенко помог сойти с машины. Опять подбежали немцы.

— Кто ты?

— Я политрук, — отчетливо сказала Клава.

— Ага, комиссар!

И сразу повели на допрос.

— Говорят, здесь твой муж?

Ей захотелось еще раз увидеть Носенко. Последний раз перед смертью. Не сегодня-завтра ее должны были все же расстрелять и до расстрела будут держать отдельно: комиссаров обычно изолируют от остальных военнопленных. А кроме того, если она станет отрицать, что здесь ее муж, ее могут начать избивать, подумают, что скрывает.

— Да, мой муж здесь, — сказала она, — капитан Носенко.

Как она и ожидала, его вызвали. Он грустно посмотрел на нее и сказал, что жена его в Краснодаре, а Клавдия Вилор — товарищ по фронту.

Пуговицы у него были начищены, гимнастерка затянута ремнем. Воротничок болтался на исхудавшей шее, и даже ноги его так исхудали, что голенища стояли раструбом.

Вызвали курсантов, чтобы проверить. Они говорили о политруке Вилор осторожно, уже наученные допросами. Повторяли: «Заботливая женщина», — и только.

На ночь отвели ее в комнату, где были две женщины, что ехали с ней в машине.

Цепь ее злоключений только начиналась.

Можно было бы не перебирать эту цепь звено за звеном, а рассказать сразу о самом существенном. Ничто, за исключением одной малости, не мешало опустить все это промежуточное, останавливало одно — подлинность перенесенных страданий. Никак не могла в угоду литературным выгодам — как бы ни соблазняли они — пренебречь и откинуть реальные муки этой женщины, выбрать из них лишь подходящее для сюжета. А кроме того, то, что происходило с Клавдией Вилор в плену, как-то меняло ее душу, и, может быть, без этих изменений нельзя было понять дальнейшего.

На этот раз ее били не больно. Били по щекам, лениво и без особой злобы. Но оттого, что по щекам, она словно бы очнулась. Так обидно ее еще не били. Немцы были совершенно искренне убеждены, что перед ними существа низшие, полуживотные, что ли. Они били в перчатках, брезгливо морщились.

Армады немецких бомбардировщиков тянулись на Сталинград по воздушному мосту. Тяжко завывая, катились над головами тонны бомб — предстоящие через несколько минут взрывы, пожары, предстоящие смерти, разрушенные дома и укрепления!.. Они плыли по шелково-синему небу над тишиной перезрелых хлебов, и не было им конца...

Есть не давали. Подкармливала Галя, делилась хлебом, баландой, — та самая беременная Галя из Одессы. И была еще в комнате с ними полячка. Они, как сошли с машины, так и двигались втроем, соединенные случаем три женщины, сквозь эти дни и ночи.

Две считали, что попали сюда случайно. Они не воевали, ни в чем не были замешаны, и обе не понимали Клаву.

— Медсестрой на фронт — еще куда ни шло. Хотя тоже не тот ведь, конечно, возраст у вас, — рассуждала Галя. — Но как же вы политруком согласились? И дочку бросили!

— Не бросила, а отдала невестке.

— Ну, все равно, — невестке. Какая же вы мать?

Давным-давно... Когда-то... жила была Клава Вилор. Был у нее муж, были две дочери, дом, буфет с посудой, шкаф с платьями. Утром она уводила обеих дочек в детский сад и шла на работу в лекторское бюро. Год назад. Короткий срок по понятиям мирной жизни! Два месяца на фронте — это значит десятки лет назад; может, и больше. Она мысленно перебирала, просеивала свой путь. Как же он привел ее сюда? Смерть младшей дочери? Она умерла в первые дни войны. А может, Клава виновата в этом? Зачем она пошла в армию? А что, если правы были в райкоме, когда отговаривали ее? Что же это было? Цепь ошибок? Та неумолимая связь, где одно вытекает из другого, где стоит ошибиться — и все пойдет дальше вкось, и по новой неуклонной колее, как следствие той, первой ошибки? Как мало она успела повоевать! И оправдать-то не успела свою жизнь!

Как ни кружились ее мысли, все равно возвращались к дочке, единственной оставшейся. И тогда ее решение умереть, умереть достойно, не поддаваться, сникало перед тоской о единственной своей дочери, перед жадой жить, чтобы ее увидеть.

Если бы она могла снова стать одинокой и свободной, как была до замужества, Клавой Бурим!

Вспоминался отец, его руки, всегда поблескивающие от въевшегося в кожу золота. Когда-то золотил клиросы сельских церквей, — не настоящим золотом, а фальшивой позолотой, которая требовала деликатной работы с лаком, «драконовой кровью», расплавленной серой. С детства помнились ей этот запах и отец, который среди желтых паров железной ложкой разливал кипящую серу и произносил странные слова — «микстьен», «мардан». А через несколько лет она, комсомолка, шпыняла его за эти клиросы и иконостасы. Самоуверенно поучали и перевоспитывали его всей своей домашней ячейкой — двенадцать братьев и она. Это была первая комсомольская ячейка на селе — двенадцать братьев и она. Как в сказке.

Сперва отец спорил, потом — кротко улыбался, отговариваясь тем, что нет зазорной работы, а потом — потом уже и не спорил, побаивался ее слов про «опиум», про «религиозный дурман», «реакцию». Слова были чужие, злые. И Клава вспоминала, как робел отец от них, как отмалчивался, опустив голову, и уходил, задыхаясь неизлечимым кашлем.

Запоздалый стыд настиг ее вот здесь, в концлагере, перед самым расстрелом. Господи, как все просто выглядело для нее в те годы, как жестока и глупа была она! Да ведь будь жив отец, он первым пошел бы воевать! И никакой бог не помешал бы ему, не остановил бы его. Какой же он «идейный противник», отец ее, — ее отец, который вот и ее, и сыновей всех вырастил в такой любви к своему дому, к России?! Она знала, что никто из ее братьев не дрогнет, не станет предателем, вроде Демьяненко.

Как люди вообще становятся предателями? От страха? Но почему одни могут выстоять, а другие — нет? И, сравнивая и размышляя, она думала о самой себе. Сумеет ли она выстоять, не изменив себе до самой последней минуты расстрела? Она побаивалась себя, побаивалась своей слабости, что дрожала где-то в глубине ее тела, а может быть, уже проникла и в душу, своего страха перед болью. Боялась, что силы иссякнут.

— Приказ-то ночью пришел. Пришел приказ, и отправили нас на фронт, — объясняла она

Гале. — На марш ночью училище подняли по тревоге. Ну что же я? Не увольняться же. Я же в военном училище.

Ей хотелось во что бы то ни стало оправдаться перед дочерью через эту Галю, — оправдаться перед маленькой за все то, что случилось, за то, что оставляет ее одну, сиротой, за свою смерть оправдаться...

Она ничего не могла избежать, когда ночью училище их подняли по приказу и бросили на Сталинградский фронт, но, честно говоря, она и не собиралась ничего избегать, она рвалась на фронт.

Они лежали трое в большой побеленной пустой комнате, с дырками от гвоздей в стенах, с затоптанным крашеным полом, с голыми окнами. Непонятно, что это была за комната в этом здании клуба имени Ленина: класс, где занимался какой-то кружок? Канцелярия? Может быть, чей-то кабинет? Из окна был виден двор. Толпы военнопленных лежали, сидели на лестнице, теснились в узкой полоске тени вдоль забора. Там укрывались от солнцепека раненые. Когда она смотрела из окна на этих безоружных мужчин, казалось, что Сталинград пал.

Привезли еще партию пленных. Из машин вываливались моряки в бушлатах, танкисты, летчики — раненные, измученные.

Слухи, непонятные и отчаянные, ползли или умышленно распространялись. Да и не мудрено — подвиг Сталинграда только творился. Удары немцев еще не иссякли, весы сражения еще колебались. А ведь на памяти было недавнее окружение наших войск под Харьковом, враг прорвался к Воронежу и к Новороссийску... В мае наши войска ушли из Керчи. Отступления, отходы, поражения первого года войны терзали души людей.

Как там было сказано, в приказе № 227, который Клава прорабатывала во всех взводах? «Отступать дальше — значит погубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину!»

А слухи множились, разрастались... Поговаривали о том, что снова отступают за Волгу, уходят, оставляя города, что немцы уже на Кавказе, в Баку, добрались до нефти... И люди здесь поддавались этим слухам, как-то оправдывая тем самым себя, свой плен.

Однако на допросах Клава особым чутьем оглохшего и ослепшего от боли человека чувствовала нервозность допрашивавших. Она вдруг однажды подумала, что если бы Сталинград пал, то ведь немцы объявили бы об этом. Они не стали бы этого скрывать. С какой стати им скрывать такую новость? «А Сталинград-то держится», — неожиданно для себя самой произнесла она вслух. Ее ударили, прикрикнули, но никто не посмеялся над ее словами, не опроверг.

Уборная находилась далеко. Полицай водил ее туда через весь двор. Она шла медленно и повторяла так, чтобы все слышали: «А Сталинград-то держится!» В словах этой страшно избитой, невесть откуда появляющейся женщины была уверенность.

Надо было найти какую-то свою линию поведения. На что она могла опереться, — она, военнопленная, что само по себе уже было позорно, она, женщина, измученная страхом побоев? Да, она не выдавала коммунистов, не рассказывала ни о каких военных секретах. Но в этом лагере про секреты и не спрашивали. Может быть, нашли предателей, может быть, еще что... Ах, если бы ей надо было что-то хранить, что-то защищать, что-то держать в тайне, может быть, ей было бы легче. Нет, какую-то иную линию надо было найти. За что-то надо было бороться, чему-то сопротивляться. И она вдруг решила: держаться за Сталинград!

Давали себя знать отбитые почки. Клава часто просилась в уборную и всякий раз, выходя во двор, объявляла: «А Сталинград-то держится!» Она повторяла это, как заклинание. Проходили часы, дни — и, оказывается, она могла все время повторять: «А Сталинград-то

держится!»

Она не знала: может быть, Сталинград держался последние часы, каждую минуту он мог пасть, но пока что Сталинград держался. Каждый день был победой, каждый день жизни Сталинграда она могла повторять это всем и каждому и чувствовала, что этим она может уязвлять немцев, может им что-то противопоставить. Для них ведь тоже к сентябрю многое уже воплотилось в Сталинграде. Сроки, поставленные Гитлером, уже давно прошли, а Красную Армию удалось потеснить только к окраине города. Взять Сталинград — удастся или нет? Сумеют ли гитлеровские армии сломить сопротивление советских войск до наступления зимы? 6-я германская армия с 28 августа не могла продвинуться к городу ни на шаг. Только танкам 4-й армии удалось вклиниться в нашу оборону в районе Гавриловки. 1 сентября Военный совет фронта обратился к защитникам города, призывая не допустить врага к Волге. Все же на следующий день немцы прорвали фронт, и наши войска стали отходить к окраинам города. В воздухе гудели немецкие самолеты, на земле господствовали немецкая артиллерия и немецкие танки. Казалось, еще одно усилие — и последние поределые советские дивизии будут сброшены в Волгу. Немцы были уверены в этом. Они уговаривали себя, убеждали.

И когда эта ковыляющая на простреленных ногах, изуродованная женщина, словно кликуша, выкрикивала, выстанывала про Сталинград, — и немцы, и полицаи выходили из себя. Никто не понимал, зачем она это делает. Зачем она прет на рожон, напрашивается на зуботычины и удары? Они не понимали, что Сталинград — ее опора. Она держалась тем, что держался Сталинград. Она была для себя тоже Сталинградом.

Возвращаясь с допросов, она старалась не стонать. Всеми силами следовало скрывать от полицаев побои. Стоило им увидеть свежие ссадины, как они зверели, — запах крови возбуждал их, и они тоже Принимались избивать ее.

Особенно свирепствовал заместитель начальника полиции, старшина лагеря по имени Виктор. Моряк, здоровенный красавец, он хвалился своим предательством. От него пахло одеколоном, сытостью, хорошим табаком. Все на нем выглядело живописно — обтягивающая грудь тельняшка, сияющая золотом морская фуражка, часы, хромовые начищенные сапоги, золотой портсигар.

— Жить надо! — рассуждал он. — А пока жив — надо жить как можно лучше.

Он пощелкивал плеткой, белозубо смеялся. Следил, как сбрасывали в ямы очередную партию умерших к утру от избиения, ран, голода. Бил он жестоко, исступленно, забывая иногда свою жертву насмерть.

К Клаве он заходил побеседовать: «на политминутку», как он говорил.

— Хлеба хочешь?

— Конечно, хочу.

— А комиссарам хлеба нет. Комиссары — самая вредная часть армии. Ну, ты-то чего связалась с ними? Была бы медсестрой, жила бы. А теперь расстреляют. Тебя со всеми твоими идеями не будет, а я буду! Смотри, как я живу! Скажешь, мародер? Ну и что? Это слова, в дело они не годятся. Жизнь-то, она короткая, комиссар. А знаешь, как хорошо, когда кругом завидуют! Вот ты жрать хочешь, а я сыт. Значит, ты мне завидуешь. Идеи твои тебя никак не кормят, а я — сыт, пьян и нос в табаке. Значит, моя идея правильная. А у меня идея такая: всех вас передавить! Ну ты мне скажи, вот ты баба. Зачем тебе все это? Чего ты на своем стоишь? И за что ты цепляешься?

— Так ведь все равно помирать, — отвечала Клава как можно равнодушнее. — Раньше, позже — все равно помирать. Чего ж я буду подличать, пресмыкаться. Приятно умереть

человеком, чтобы уважать себя.

— Ага, человеком! Вот-вот, ты сказала «человеком»? Ну, а как же ты можешь помереть человеком? Ты посмотри на себя, разве ты человек? Вот я — человек, и живу как человек!

Она не могла прогнать его, не могла обругать. Он искал признания или хотя бы возвышенных споров. И не так-то просто было опровергать его и противостоять его сытости.

Ей хотелось узнать, как он стал таким. Очень просто: был осужден на десять лет за хищения, ему заменили срок передовой, и он перешел к немцам. Он ничего не скрывал: она, Клава Вилор, была безопасна — скорый мертвец; а его тешила собственная откровенность. В этой откровенности была жажда не только самоутверждения, но и какого-то самооправдания, что ли. Ему мечталось услышать от нее какое-то признание в правоте его выбора, или его страха, или его цинизма.

Иногда казалось, что он наговаривает на себя, когда он рассказывал, как, защищая Одессу, во время боя стрелял исподтишка в комиссаров, политруков.

Он ничего не скрывал от Клавы Вилор. Он ее ни в чем не переубеждал, ничего не требовал, не допытывался. Ему нравилось беседовать с ней о своей душе. Ему словно хотелось выработать какую-то свою линию самоуважения. То, что он хорошо жил среди умиравших от голода, израненных, измученных военнопленных, то, что он ненавидел все советское, — этого было еще недостаточно. Он пытался понять самое существо Клавиного упорства, то есть не обязательно именно ее упорства, а упорства всех тех, кто, попадая в плен, оставался самим собой, всех тех, кто не сдавался.

Шестого сентября (и как это память ее сохранила все даты!) к ней потихоньку пробрался Баранов и сказал, что он все подготовил для побега. Нынче — последняя возможность. Не согласится ли она попробовать бежать вместе с ним? Она с горечью показала ему свои израненные ноги, поцеловала его на прощание, пожелала удачи и больше его не видела. Его побег вселил надежду, что Баранов где-то там, — если он благополучно доберется, — за линией фронта расскажет о ней...

Наконец наступил день, когда во двор въехала зарешеченная закрытая грузовая машина и ее, Клаву Вилор, вместе с другими военнопленными повезли на расстрел. Расстреливали за городом, у шурфов затопленных шахт. В эти шурфы сбрасывали расстрелянных, а часто сталкивали и живых.

Привезли. Построили. Приказали раздеться. Начали подводить группами к яме.

Клава была шестнадцатой. Перед ней было убито пятнадцать человек. Когда ее подвели к краю, она закрыла глаза. Уже несколько последних военнопленных немцы не расстреливали, а просто сталкивали. Она тоже стояла, ожидая толчка. Вдруг ее взяли за плечо, отвели в сторону и приказали одеться. То же приказали и другим.

Вот эти-то минуты, даже мгновения, когда она стояла, закрыв глаза, — казалось мне, что эти мгновения должны были врезаться и остаться в душе ее так сильно, как это было, например, у Достоевского. Мне почему-то больше всего вспоминался Достоевский. Наверное, потому, что, как никто другой, он отразил эти последние мгновения перед расстрелом, когда он сам стоял на Семеновском плацу на эшафоте и впоследствии снова и снова возвращался к своей казни. В том же «Идиоте», когда он описывал казнь расстрелянием и казнь на гильотине, и как самую ужасную муку эти последние минуты — когда всякая надежда отнята и знаешь, что человеком больше не будешь наверно.

Но тут у Клавдии Вилор ничего похожего не было. Муки ее жизни были сильнее ужаса перед смертью. Смерть была бы прекращением боли. Стоя перед шурфом, Клава просто ждала

того, к чему давно приготовилась. Она ждала смерти, как ждут снотворного. И Клава не то чтобы была разочарована, — нет, но не испытывала никакой радости от избавления и так же равнодушно, а может быть, даже с тоской перед новыми муками стала по приказу одеваться вместе с другими и снова последовала в гестапо.

Выяснилось, что их, оставшихся, возили к шурфу для запугивания. Но лично для нее никакого запугивания уже не могло существовать. Ее доставили в бывшую гостиницу «Донбасс», стали угощать яблоками, грушами, поставили перед ней вареную курицу и предложили подписать признание, что она пошла в армию по принуждению большевиков, которые вынуждены использовать женщин. А потом надо будет выступать перед военнопленными, рассказать им, что хотела перейти к немцам.

Психологический эффект, конечно, получился, но обратный, — она вскочила, проклиная их за то, что они ее не расстреляли.

— Когда вы меня расстреляете?! — кричала она. — Гады! Мучители, расстреляйте меня скорее... стреляйте же!

Через несколько часов, избитая, она очутилась в одиночной камере. С этой минуты, в любое время дня и ночи, дверь открывалась, и немецкие офицеры из командировок, из госпиталей, а то и просто с гулянья заходили посмотреть на редкий экземпляр: женщину-комиссара. Они останавливались в дверях и обсуждали ее, разглядывали.

5

Жизнь человеческую можно изображать как перечень бед, невзгод, несчастий. У каждого они есть, есть всегда, и составляют свою непрерывную цепь. Впрочем, так же, как существует и своя цепь радостей, любви, счастья. Чаще всего они даже сосуществуют параллельно — обе эти линии в человеческой жизни.

Но та пора в судьбе Клавдии Вилор была составлена, пожалуй, только из бед, мучений, горестей. Наверное, поэтому так тяжело и рассказывать сплошь подряд обо всех ее нескончаемых страданиях в этом повествовании.

И все же... В том-то и особенность любой человеческой жизни, что даже при самых тяжелейших испытаниях, в самой мрачности и безысходности, она, эта жизнь, умудряется сама себе создавать какие-то просветы. И одним из таких просветов у Клавдии Вилор была песня.

Она пела с детства, по любому поводу и просто так. Здесь же, в плену, песня стала для нее единственным способом забыться. Песней она поддерживала себя, поддерживала окружающих. Песня была для нее наиболее доступной формой протеста. В этой массе военнопленных, где старались уничтожить всяческую человеческую индивидуальность, а тем более личность, песня позволяла Клаве ощутить свое «я». Голос у нее был сильный, и в тюрьме, сидя в этой одиночной камере, она старалась петь. Рождала песню тоска, но песня и отгоняла тоску. Она складывала песни — складывала их о самой себе бесхитростными, неуклюжими строками, где главными были, может быть, не столько слова, сколько чувства: «Ах ты доля, злая доля, доля горькая моя! Ах, зачем же, злая доля, до гестапо довела? Очутилась я в подвале, и в холодном, и в сыром. Здесь я встретилась с подружкой: „Здравствуй, друг! И я с тобой“. — „Ах, зачем же, дорогая, как попала ты сюда?“ — „Сталинград я защищала и там ранена была“.

В соседних камерах подпевали. Где-то неподалеку, тоже из одиночки, доносился мужской голос. Клава узнала, что это был летчик, подбитый на Кавказском фронте. Она пела ему: «Лети, мой милый сокол, высоко и далеко, чтоб счастье было на земле!» Пели и в других камерах. Ее голос выделялся. Когда она начинала петь, тюрьма замирала, наступала тишина. Чувствовалось, как слушают заключенные. И тогда во весь голос, назло, она пела не только с вызовом, но и с угрозой: «...И вернется армия, и придут желанные, что тогда, легавые, скажете вы им? С мыслями продажными, с мыслями преступными невозможно будет вас уж оправдать!» Вот здесь главными были слова, нескладность действовала сильнее знакомых, запетых текстов. И так будет и дальше — в тюрьме и потом во всех злоключениях Клаву будет сопровождать песня.

Есть люди, которые и радости, и горести выражают с помощью песни. Это большей частью натуры музыкальные. Музыкальность позволяет им через мелодию, через песню выразить любые чувства, музыка становится поступком, ей передается вся сила, неистраченная энергия. Может быть, это сродни пению птиц, чисто природному инстинкту самовыражения. Вот такая произвольная потребность в песне была глубоко заложена в натуре и этой женщины.

В камеру к ней поместили четырех женщин. Вначале они вели себя с ней осторожно, потом, увидев ее состояние — избитую, с коростой сукровицы, с грязными тряпками, присохшими к ранам на ногах, этот тяжелый, зловонный запах, который шел от нее, — они поняли, что она не «подсадная», прониклись к ней сочувствием и состраданием сразу же, как это может быть только в одной камере; стали вызывать тюремного врача и добились, чтобы ей сделали перевязку.

Они все четверо были из одного партизанского отряда. Теперь они перед ней больше не скрывались. Две из них — Шура и Вера — были разведчицами, причем Шура уже была награждена орденом Ленина, уже бежала однажды из гестапо и сейчас опять договаривалась, чтобы бежать, когда повезут на допрос или на расстрел. Партизанок избивали. У Шуры требовали сказать, куда она спрятала орден Ленина.

Среди партизанок была одна пожилая женщина, которая просила Клаву не петь, зная, что за это избивают. Но однажды наступил день, когда она вдруг махнула рукой на это и стала подпевать, сказав, что с песней умирать веселее. Между прочим, это бывало часто: люди пугались, когда Клава запедала, а потом голос ее завораживал их, или подзадоривала песня, они подхватывали уже с совершенно иным настроением: одни — вызывающе, другие — с неожиданной беспечностью.

Режим в тюрьме стал строже, избияния — чаще. Избивались во всех камерах. Люди стали кончать с собой — вешались, резались.

Побеги не прекращались, несмотря на то, что за бежавшего заключенного расстреливали каждого двадцатого, десятого.

Клава договаривалась с девушками, что если посчастливится бежать и если кто-нибудь из них доберется к партизанскому отряду, то партизанам обязательно надо будет сделать налет на их тюрьму и освободить заключенных.

Они строили всевозможные планы — и как они будут воевать дальше в партизанах, и как отомстят и уничтожат здешних полицаев-предателей. Эти планы, один отважнее и фантастичнее другого, воодушевляли Клаву. Женщины-партизанки принесли сюда совершенно новые чувства: она вдруг поняла, что и в этих условиях можно воевать, бороться, что и здесь, за линией фронта, существует не только душевное, но и вооруженное сопротивление. Раньше для нее, как для многих солдат, партизаны были понятием отвлеченным. Впервые она познакомилась с настоящими партизанками, которые уже много

месяцев действовали в немецком тылу.

Однажды утром всех четырех партизанок увезли в лагерь гестапо. Клава распрощалась с ними, поняв, что прощается навсегда. Они тоже понимали, что вряд ли выйдут оттуда живыми. И тем не менее Клава попросила их в слабой надежде, что, если кто-нибудь останется в живых, — пусть сообщат в город Ворошиловск о том, как она, Клава Вилор, погибла.

Ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее дочь и родные знали, что она погибла как честный человек, никого не выдав, не дав согласия служить фашистам. Она относилась к себе уже как к человеку неживому, как к расстрелянному. Ее будущее заключалось лишь в возможности как-то передать вот эту последнюю весть. Ее интересовало только одно — честь, собственная честь. Она хотела оставить эту честь, которую она хранила из последних сил, ради которой она терпела все муки, — оставить эту честь дочери и чтобы дочь узнала... Есть старое выражение: «Жизнь — Родине, а честь — никому». В конце концов, она ведь старалась действительно не ради кого-нибудь, а ради себя, своей чести. Жизни давно уже не было, с той минуты, как она попала в плен, а честь была, и честь она никому не отдавала. Но иногда ей казалось, что смысл ее борьбы пропадет, если никто из родных не узнает о том, как честно она погибла.

Потом, много позже, она дойдет и до другого понятия своей чести, когда самым высшим будет не забота о том, чтобы узнали другие, а забота о своем собственном суде над собой, — перед самой собой ни в чем не погрешить, ни в чем не отступить!

Расстрелы производили два раза в неделю — по средам и пятницам. Тюрьма в эти дни замирала. Все ждали своей очереди. Минуты и часы растягивались, длились мучительно долго. Никто не разговаривал. Все прислушивались. И когда машина уходила, забрав очередную партию, оставшиеся заключенные приходили в себя.

На смену увезенным партизанкам в камеру втолкнули молодую девушку — Марусю Басову, которая жила на хуторе Ковалевском. Ее привезли вместе с братом, который был политруком и был направлен в тыл к немцам. Одна из завербованных им женщин оказалась предательницей и выдала потом всю группу — шестнадцать человек. Марусиного брата схватили во время передачи по радиации сведений нашим войскам.

В камеру попадали люди из-за тех или иных неудач. Именно эти неудачи проходили перед Клавой поучительной и горькой школой — предательство, неосторожность, провалы, неумелая конспирация.

Маруся Басова прикидывалась на допросах ничего не знающей, утверждала, что понятия не имеет ни о работе брата, ни о какой группе. Вскоре ее отпустили домой.

Как раз в день ее ухода из тюрьмы Клаву вызвали на допрос и так избили, что она, вернувшись в камеру, легла на холодный пол, не будучи в силах двинуться. Маруся сказала:

— Лучше бы ты умерла, Клава. Все-таки своей смертью легче умирать. — И заплакала, обняла, не обращая внимания на то, что Клава такая грязная, что от нее так пахнет. Прощаясь, сказала, что обязательно расскажет о ее гибели, о том, как погибла Клавдия Вилор.

На следующий день ее брат и вся группа были расстреляны. А Клаву вдруг оставили в покое, и в течение двух месяцев не было ни одного допроса.

...А потом с ней сидела другая партизанка — Лида Мартынова. Ее все время возили на облавы, чтобы она выдала своих партизан, а она все прикидывалась слабоумной, говорила, что забыла, ничего не помнит. Ее били, а потом перевели в другой лагерь и расстреляли. Об

этом Клава узнала уже позже.

...А потом сидела с ней Соня Булгакова, которую посадили за кражу немецкого обмундирования.

...И еще были Катя Анфимова и Софья Шмит, которую немцы время от времени брали как переводчицу.

Женщин использовали на уборке коридоров, уборных в тюрьме, на мытье полов. Поскольку женщин было мало, их всех заставляли работать. Мужчин до вечера угоняли работать в город, а женщины работали в тюрьме.

Клава попросила Софью Шмит похлопотать, чтобы ее послали работать на кухню. В конце концов Шмит этого добилась. Почти ежедневно Клаву стали посылать в первый этаж, где помещалась кухня, работать вместе с Катей Анфимовой.

Катя сидела в тюрьме уже полгода. В Макеевке у нее жила семья: отец, мать, братья, сестры. И немцы, посылая Катю на кухню, письменно предупредили, заставили расписаться, что в случае побега члены ее семьи будут повешены.

Катя делала, что могла, чтобы как-то помогать заключенным: передавала потихоньку в камеры какие-то записочки, приносила пить, бросала в камеры иногда бураки, иногда кусок хлеба. И Клаве она старалась помочь, хотя в присутствии полиция делала вид, что ее ненавидит.

Раны на ногах у Клавы затянулись; работая на кухне, она несколько окрепла и сразу же стала подумывать о побеге. Работа на кухне эту возможность давала. Трудность состояла в том, чтобы достать женскую одежду, потому что совершать побег в шинели или в тех лохмотьях, которые были на ней, было бессмысленно.

Она стала уговаривать Катю Анфимову достать какую-либо одежду. Катя отказывалась, боясь за себя и за своих родных. Никакие клятвы, что Клава ее ни за что не выдаст, не действовали.

Между тем мысль о побеге все больше овладевала Клавой. Она понимала, что положение ее шатко, что не сегодня-завтра ее не выпустят из камеры и тогда пропала последняя возможность. Ее могут снова вызвать на вопрос, поставить условие, дать последний срок. Она умоляла Катю. Катя не соглашалась. Из-за этого возникало немало трудностей в их отношениях, тем более что их связывала и работа, и жизнь в одной камере.

Наступил день, когда Клаву снова вызвали на допрос. Это был самый ужасный из всех допросов. На ее глазах огромная собака набросилась на заключенного, Клава стояла в углу комнаты, заложив руки за спину. Ей сказали, что если она не даст согласия подписать обращение, выступить, то на нее точно так же напустят собак. Если же она согласится с их предложением, ее оденут, создадут хорошие условия. «Ноги починим, — говорили ей, — вылечим. Фамилию дадим другую. Никто и знать не будет. За что ты держишься?» Она попросила у офицера дать два-три дня подумать. Другого выхода у нее не было. Ей нужно было, чтобы ее отпустили назад.

Теперь единственным ее спасением было уговорить Катю. Немцы срочно разгружали тюрьму, большую часть заключенных увозили на расстрел, других — в Германию.

Вернувшись в камеру, она сказала Кате, что если сегодня или завтра она не сумеет убежать, будет уже поздно, и Катя Анфимова будет виновата в том, что ее, Клаву, немцы расстреляют. Это был последний аргумент, последняя, пусть жестокая, но: возможность как-то убедить Катю.

Она понимала, что у Кати есть своя правда, что, в конце концов, перед Катей тяжкая проблема: имела ли право она. Катя Анфимова, рисковать своей семьей, родителями ради побега этой малознакомой женщины? Почему жизнь этой женщины ей должна быть дороже жизни ее родных? Причем и побег-то был почти безнадежен, напрасен, потому что вряд ли Клава Вилор могла уйти в таком состоянии далеко, ее так или иначе немцы поймают.

И все-таки перед угрозой Клавиного расстрела Катя Анфимова согласилась. Не вынесла. Прежде всего она уговорила женщину, которая приходила на кухню за картофельными очистками, чтобы та принесла какую-нибудь рваную фуфайку. Женщина принесла и спрятала фуфайку в отбросах в углу кухни. Затем у другой заключенной, у Маруси из девятой камеры, выпросила платье под предлогом того, что, мол, политруку нечего надеть. Кроме того, Катя дала свой большой шерстяной вязаный платок. Теперь надо было решить вопрос насчет обуви. Катя сказала:

— Когда будешь бежать, во-первых, с гвоздя сними этот мой платок, а под скамейкой возьмишь галоши.

Она приготовила еду на дорогу. Наконец, надо было дать адреса. Катя дала адрес, и дала адрес Соня Булгакова. Катя предупредила, что как только Клава убежит, буквально через несколько минут придется поднять тревогу. Она, Катя, скажет, что политрук сбежала и украла у нее платок и галоши. Это было необходимо, чтобы как-то спастись самой Кате.

Целый день они шептались и обдумывали, когда лучше бежать. Решено было, что самое выгодное — бежать примерно в шесть часов вечера: производится смена полицейских. Сразу после шести, после того как на кухню наносят воду и будет помыт котел, их, всех женщин, отправляли в камеры и закрывали. Вот этот промежуток и надо было использовать.

Наступил назначенный день побега — 26 января 1943 года. Они, как всегда, работали на кухне вчетвером, четыре женщины. Ближе к шести часам трое из них начали носить на кухню воду, Клава же осталась на кухне, якобы для того, чтобы мыть котел. Около шести вечера, пока заключенных еще не привезли, она быстро надела фуфайку, на голову — платок, на ноги — галоши, взяла узелок с пищей, приготовленный Катей, в другую руку — помойное ведро (это на всякий случай, как предлог: якобы она идет вылить помой) и начала спускаться по лестнице. Перед ней шли с ведрами Катя и Лида.

Показалась площадка, которая просматривалась полицаем. И тут Катя взяла ее за руку и шепнула, чтобы она не уходила. В последнюю минуту ей стало страшно. Клава ничего ей не ответила. Оторвала ее руку и юркнула в дверь.

В тюремных воротах никто не стоял. Пока все было так, как они и рассчитывали. Она медленно вышла за ворота, пошла по запущенному, заросшему высоким репейником саду, бросила туда ведро и пошла быстрее и быстрее, начисто забыв о том, куда повернуть, — о той дороге, о которой ей рассказывала Катя.

Она шла долго, а когда вспомнила об этом повороте, об этом свертыше, то было уже поздно. Навстречу двигались машины, и казалось, в каждой из них сидят немцы, которые ищут ее. И вдруг она вышла на проволочное ограждение концлагеря...

Мог ли подумать когда-либо отец Клавы Вилор, что эта огромная семья, которую он воспитал, выходил, будет начисто истреблена в войну — сыновья, сколько их было, дочь, сестры,

братья, невестки, внуки? Дерево, которому расти и расти, которому, казалось, сносу не будет, — все почти подчистую было вырублено войной. Они пострадали еще и в предыдущую войну — гражданскую. Уже тогда смерть прошла по ним. Уже тогда белые вели на виселицу мать, лишь чудо спасло ее. Женщины — родоначальницы и продолжательницы — в их роду обладали той жизненной силой и счастливой судьбой, которая спасала от гибели корневище этой семьи.

Клава стояла перед проволочной оградой концлагеря, знакомого ей до тюрьмы, а в тюрьме уже поднималась тревога, потому что Катя, как уговорились, начала кричать, что политрук сбежала. А еще за несколько минут до этого истопник нашел брошенное помойное ведро и принес его коменданту.

Катю тотчас вызвал комендант и стал допрашивать, кто помог бежать комиссару Вилор. Катя твердила:

— Откуда я могу знать? У меня украла она вещи, удрала, и я за нее отвечаю!

На всякий случай ее избили и посадили в камеру под замок.

И вот в эти минуты у проволочного ограждения навстречу Клаве Вилор вышла какая-то женщина. Клава спросила ее, как пройти на Рутченковку (это адрес, который дала ей Соня). Женщина осмотрела ее и безошибочно определила:

— Ты что, из лагеря сбежала?

— Клава ответила, что она из Макеевки и ищет своих знакомых.

— А почему же ты города не знаешь? — спросила ее женщина.

— Я приезжая.

— Рутченковка далеко. Ты туда сегодня и не дойдешь.

Клава молчала.

— Ну, если у тебя паспорт есть, пойдём ко мне, — сказала женщина.

Клаве не понравилось что-то в ее взгляде, и она отказалась, сказав, что будет искать знакомых.

Она повернула назад. Ноги болели. Было холодно. Наступал комендантский час. Она шла осторожно, остерегаясь любой случайности.

Поздним вечером она добралась в нижнюю часть города. Остановилась. Увидела женщин, которые возвращались с работы. Подошла. Спросила, где 18-я линия, дом 31.

Одна из женщин сказала:

— А кого тебе там надо?

Она ответила:

— Катю.

Оказалось, что женщина живет в этом доме. Согласилась ее довести. По дороге спросила:

— А что тебе надо от них в такое позднее время? Ты, поди, из лагеря сбежала?

Несмотря на фуфайку и на платок, все почему-то безошибочно определяли, что она из лагеря. Печать голода и мучений, очевидно, слишком явно лежала на всем ее облике.

Она подвела ее к квартире. На стук вышла молодая женщина. Клава сказала, что она от Кати. Женщина впустила ее и попросила ничего не говорить матери. Мать услышала их разговор и, сразу все поняв, стала выгонять Клаву. Дочь упрашивала ее разрешить Клаве остаться.

Клава подошла к печке согреться. От холода моча не держалась. И этот запах, и лужа на полу возмутили старуху, она потребовала, чтобы Клава ушла. Но Клава не в силах была оторваться от печки. Она отвечала на любые вопросы старухи, призналась, что она — политрук, рассказывала про Катю Анфимову. Она могла рассказывать сейчас без конца о чем угодно, лишь бы стоять, прильнув телом к теплой печке. А старуха взяла ее за руку и вытащила на улицу. Стала объяснять Клаве, как пройти к Полине Михалко (это был второй адрес, который дала ей Катя Анфимова).

Дорога была запружена машинами, танками, тархтели военные мотоциклы. Клаве пришлось свернуть и идти параллельными улицами, прячась, когда она встречала патрули. Так она добралась до центра. В темноте узнала гостиницу «Донбасс», где находилось гестапо и куда ее водили на допрос.

Ветер со снегом бил ей в лицо. Она так замерзла, что уже не чувствовала рук и в темноте перестала разбирать дорогу. Забралась в какую-то яму, сидела там, пока не начало рассветать. На рассвете вылезла из ямы, но идти не могла. Ноги и руки ее не слушались. В ней жило лишь туловище; если бы можно было, она бы покатила по земле, это было легче, чем передвигать ногами, от каждого движения ими хотелось кричать, выть... Она искала Нефтяную улицу. Это был последний адрес, который она имела.

Наконец она нашла Полину Михалко. Та уже собиралась на работу.

— Я от Кати, — сказала Клава.

Полина смотрела на нее, и Клава понимала, что сейчас от этого взгляда решится ее жизнь. Полина имела полное право сказать: «Я не могу вас принять», «Я боюсь вас принять», «Я не одна», «Ко мне нельзя», — да мало ли какие причины она могла привести, а могла и вовсе не приводить... «Уходите!» — и все тут. И, вероятно, потому, что Клава Вилор это поняла, такая тоска появилась в ее глазах от ожидания этого ответа, — может, от этого Полина сказала, что оставит ее, но только боится, чтобы Клава ее не обворовала. Это было совсем неожиданно.

— Что вы! — сказала Клава. — Разве вы не видите? Разве мне до этого?

Полина закрыла ее на замок, предупредив, чтобы она не подавала никаких признаков жизни.

Она прожила у Полины восемь дней, прячась за железным корытом, когда кто-нибудь входил. И вот тут, пожалуй, начало проявляться то особое качество характера Клавы Вилор, которое так сильно развилось в ней дальше.

За эти восемь дней Полина Михалко преобразилась. До прихода Клавы Полина жила замкнуто, боясь всего. Сестра ее и зять работали до войны в Сталинском облисполкоме, они эвакуировались, а она, оставшись здесь, боялась каких-либо допросов, гонений. Живя с Клавой, она несколько распрямилась, вспомнила, что она медсестра по специальности и ведь могла принести какую-то пользу Родине. Однажды она вдруг сказала:

— Знаете что, Клава, давайте спать в комнате.

Вместо того чтобы прятаться в чулан, в бочку с углем, Клава легла на кровать, в комнате, вместе с Полиной.

Она не выбирала, она работала с теми людьми, каких посылала ей судьба. Она была уверена, что каждый, самый запуганный, самый трусливый человек может распрямиться и что-то сделать. Что-нибудь. У каждого человека есть мечта что-то совершить. Неважно, как много, неважно, насколько значительным это окажется, важно стронуть человека.

По вечерам, в темноте, они шептались. Клава рассказывала о себе. Ее история была и исповедью. У человека есть потребность открыться. Это касалось отношений Клавы с мужем, той печальной ссоры, какая произошла у них перед самой войной, когда он взревновал и уехал, и так все нелепо оборвалось.

Полина пыталась связать ее с местным подпольем, но не сумела. Однажды она повинилась перед Клавой; ведь она как медработник обязана была пойти служить в Красную Армию, должна была и не пошла, за это наказана скотским своим существованием. На что она обрекла себя! Служить этим гадам, всего бояться, смиренно молчать, потупив глаза, глотать оскорбления, угодливо улыбаться, прятать свои мысли, чувства, следить за каждым жестом. Ни разу не посметь сказать вслух то, что думаешь. Не выругаться, не возмутиться. Постепенно-это становилось привычным, и все реже она мучилась и презирала себя.

Горячее это признание придало ей смелость, очистило ее.

Они говорили друг другу, что не боятся умереть, совершенно не боятся умереть, потому что нет смысла так жить.

Назавтра Полина согрела воду, смыла с Клавы тюремную грязь, помыла ей голову. На чистом, истончавшем до прозрачности теле выступили иссиня-черные следы побоев, незаживающие раны, рубцы, ссадины, и было их столько повсюду, и так страшно было это зрелище, что Полина зарыдала.

— Куда же ты пойдешь такая? Я тебя не пущу, ты же не дойдешь. Господи, что ж это делают с человеком!

Но Клаве надо было уходить подальше от Сталине, где продолжали ее искать после побега, передавали по радио ее приметы. И она отправилась через Смоленку в сторону Рутченковки, к родным Сони Булгаковой, Полина провожала ее не таясь, а главное — не желая отныне ничего страшиться.

Помогая Клаве, она ощущала свою смелость. И ни за что не хотела возвращаться в прежнее свое существование.

В этот день штаб фельдмаршала Паулюса вел переговоры со штабом нашей 64-й армии об условиях капитуляции; немцы, не дожидаясь конца переговоров, бросали оружие тут же в снег возле универмага. Было утро, был мороз, немецкие офицеры суетились, кутались, готовясь к долгому пути пленных.

Клава добралась до Рутченковки. К сожалению, сестра Сони не могла достать ей какого-либо документа, по которому она могла бы дальше двигаться к линии фронта. Она лишь накормила ее лепешками из макухи и вывела дальше в сторону Матвеева Кургана. (Клава сказала, что она с Матвеева Кургана и идет домой.)

Сестра Сони проводила ее до самой окраины, показала путь, глухой, заброшенный, через рудники в Чулковку, Алексеевку, Мандрыкино, Мушкетово. Посоветовала не говорить, что сидела в гестапо, и сказала, что на этой дороге каждый шахтер ее примет. Дорога действительно была заброшенной, в каких-то ямах, Клава часто проваливалась в глубокий снег.

Неподалеку от шахты ее встретила бежавшая навстречу женщина:

Она спросила:

— Не видели ли вы, куда погнали пленных? Их, говорят, увозят в Германию. Там один совсем босой. Замерзнет. Вот несу ему бурочки.

Клава сказала, что не видела, и, решившись, призналась ей, что тоже военнопленная, убежала недавно из лагеря и не знает, где можно переночевать, согреться, так как сильно замерзла. Женщина посмотрела на нее с жалостью и попросила, чтобы Клава ее подождала, а сама побежала догонять пленных с надеждой передать бурки.

Клава села на снег, не зная, ждать или нет. Сил не было.

Где ночевать? Ждать ли? Ведь так совсем можно замерзнуть. Ждать или не ждать? Можно ли верить той женщине? Клава научилась определять людей по неуловимым признакам: по взгляду, по движениям лица. В ее распоряжении были считанные секунды, да что там секунды — мгновения, когда приходилось решать: довериться или нет. Слова ничего не значили, значило то таинственное, тот ток, что всегда возникает между двумя людьми. Другой человек и ты, другое я и твое я, вы еще ничего не сказали друг другу, только посмотрели, и уже что-то установилось, почему-то оно, это другое я, стало симпатичным, или же, наоборот, появилась к нему неприязнь. Ничего не произошло, а отношения возникли, и приходится полагаться на эти отношения, потому что проверять себя некогда, выяснять ничего невозможно, а есть лишь безмолвное, мелькнувшее, как тень, чувство.

Здесь же получилось так, что и лица женщины в сумерках не разглядеть было.

Сидеть становилось невмоготу. Начинало клонить в сон, и Клава понимала, что замерзает. Она заставила себя встать, пойти, в это время издали закричали, к ней бежала женщина, махала рукой. Это была та самая, что искала пленных. Так она их и не догнала и теперь, найдя Клаву, она снова усадила ее, стащила с нее рваные сапоги, надела теплые, фетровые, отороченные кожей бурки и повела к себе.

Она спросила Клаву, куда та идет и как ее зовут. Клава на всякий случай назвалась Катей Остапенко, сказала, что идет домой в Матвеев Курган.

Женщина жила с мужем-шахтером и сыном. Жили они совсем плохо, немцы им ничего не давали, а все, что можно было поменять на продукты, они поменяли. Последнее, что оставалось в доме ценного, были бурки. Поля — женщину тоже звали Полиной — понесла их продавать, но, увидев по дороге пленных, решила «дать им».

Войдя в хату, Клава поразились бедности этих людей. Единственная еда была — несколько бураков. Женщина говорила, что бураков хватит, если растянуть, примерно на неделю.

Через два дня Поля, вернувшись из церкви, сказала, что немцы устраивают облавы, делают обыски и всех забирают на окопы.

Клава решила уйти. Для этого ей надо было достать хоть какой-нибудь документ. Поля, поговорив с мужем, вместо документа решила отвести ее в Прохоровку, к одной женщине — Петровне, считая, что этот дом будет самым безопасным.

Когда Поля привела ее в Прохоровку, к Петровне, та приняла ее странно и непривычно для Клавы — как великомученицу, которую послал к ней Илья-пророк. Клава не могла представить, что со стороны, для окружавших людей, она. Катя Остапенко, и впрямь выглядела страдальцей, принявшей неслыханные муки и лишения, — оборванная, израненная, с горящими глазами. Муж Петровны уподоблял ее святой Екатерине, имя которой, известно, означает «всегда чистая». По уверению же Петровны, всем своим обликом и фигурой Клава походила на любимую ее святую Варвару-великомученицу, которой дана

благодать спасения от насильственной и внезапной смерти. К великому смущению Клавы, среди верующих, усердно посещавших Петровну, пошел слух о ниспосланной им мученице, и одна за другой стали к ней обращаться женщины, матери, жены, просили заступиться за своих, защитить их от пули, от снаряда, от военной гибели. Отговорки Клавы не доходили до них. Она уверяла в своей бессилии, но эти женщины по-прежнему смотрели на нее с мольбой и верой в чудо.

Клава считала, что она, как коммунистка, обязана бороться с религиозным дурманом, и в то же время что-то мешало ей прямо высказать этим женщинам свое безбожие. Удерживали не опасения, а скорее жалость. Она понимала, что в эти тяжкие времена слабые души обращаются к религии. Заполнив маленькую горницу, женщины в три ряда стояли на коленях, впереди Петровна, и клали земные поклоны, тихо пели, а потом молились.

«Пресвятая дева, веру нашу укрепи, надежду утверди, дары любви сподоби. Умилосердствуйся, всемилостивейшая госпожа наша, на немощные люди твоя: заблудших на путь правый наставь, избави нас от голода, губительства, огня, меча, нападения вражия, наглыя смерти, тлетворных болезней. Утоли моя печали...»

Клава вслушивалась, слова эти ее смущали, она видела, как женщины уходили успокоенные, просветленные. Клава понимала, что утешение их ложное, и в то же время завидовала им. Молитва давала им надежду, помогала жить, существовать, и Клава не смела лишить их этой надежды, да и уместно ли это было сейчас?..

— А как еще охранить матери своего сына? — говорила Петровна. — Чем другим, если не молитвой? Назови это любовью, все одно. Знаешь, как сказано: «Давайте, и дастся вам. Какой мерою мерите, такой же и отмерится вам».

Дивные эти слова согревали душу, но потом начиналась какая-то маета. Бездеятельная вера возмущала бурную натуру Клавы. Будь это мужчины, все было бы проще, она нашла бы, что им ответить, но перед ней были голодные солдатки, матери с малолетками.

Полицаи и немцы не трогали Петровну. В домике ее действительно можно было жить сравнительно спокойно.

Клаву здесь любили, за ней ухаживали, и никто из них не мог понять, почему она однажды утром, расцеловав Петровну, покинула ее гостеприимную хату. Ни уговоры, ни предостережения не могли остановить ее. А ведь было заманчиво: принимать проходящих, советовать им, объяснять, успокаивать, а самой тем временем искать связи с подпольем, собирать сведения о немцах.

Скупые, осторожные слова ее чудесным образом утешали женщин. Было так легко вселить в них надежду и вместе с надеждой — веру в разгром фашизма, в скорое освобождение от оккупантов, а значит, и в необходимость борьбы.

Но эти исстрадавшиеся, иссохшие души жаждали чудес. И когда пошел слух, что она исцелила кого-то, а другой предсказала, что сын жив, и вскоре пришла весточка от него откуда-то из-под Харькова через партизан, — тут вот Клава и решила: хватит, надо уходить.

Она поняла, что может еще что-то делать, но для этого надо избавиться от личины, от навязанного ей Петровной образа святой великомученицы, от религиозной подоплеки, от нимба, который претил ее душе.

Так начались долгие ее скитания из одного дома в другой, от одной семьи к другой. Не просто спасение от гестаповцев, начиналось нечто иное — осмысленность ее пребывания здесь, в этом фашистском тылу, среди измученных лишениями и террором людей.

Теперь уже всех и не вспомнишь. Солдатки, вдовы, голодные ребятишки, заснеженные хаты, где жизнь теплилась у печки, перед чугуном, в котором парились, а то и варились бураки — сахарная свекла. Они нарезались малыми ломтями, желтые, точно сливочное масло, заменяя хлеб, сахар, картошку, мясо, — единственная еда тех голодных мест.

Клава переходила из одного поселка в другой, ее как бы передавали — вернее, она сама выискивала те невидимые тропки, что петляли между семьями.

Она являлась не агитировать, не странницей-проповедницей, она приходила жить. Ей помогали. Ее укрывали, это всегда понимали, даже если об этом и не говорилось ни слова. Она не была гостем. Она жила и старалась поддерживать людей своей верой. Она говорила про Сталинград, иногда от этого люди как бы приходили в себя, поднимались с лежанок, наводили в доме порядок, мыли детей. Клава делилась надеждой, и от этого в ней самой прибывало уверенности. Она знала, что где-то тут действует подполье, еще Катя Анфимова рассказывала ей про партизан где-то неподалеку, чуть ли не в этой же области. Но выйти на них никак не удавалось. И тем не менее присутствие их делало ее сильнее. Она чувствовала себя как бы уполномоченным, политруком, мобилизованным на работу среди гражданского населения.

Впрочем, так и воспринимали ее: как человека, за которым что-то стоит, какие-то силы.

После войны Клаве пришло письмо:

«Здравствуй, дорогая Катя, то есть Клавдия Денисовна!

Вот как будто я и не вам пишу, Клава. Как я рада, что ты прошла и со своей дорогой крошкой вместе теперь! Я так беспокоилась за вас, утро, вечер и ночь призывала имя твое, чтобы ты прошла благополучно к своему ребенку. Я так боялась, чтобы ты не попала к тем извергам опять в плен. Вспоминаю, как ты переживала в плену и у Петровны. Но я стесняюсь тебя затронуть. Петровна все говорила, что тебя прислал Илья-пророк».

Письмо без конверта, сложенное треугольником, как многие другие письма из той пачки, что сохранилась у Клавы Вилор.

«Ксения Алексеевна Пискунова» — по этой подписи вспомнилась старушка, крепенькая такая, каленая, хотя по разговору еле слышная, к ней привела Клаву Феня Жукова.

Весь день Ксения Алексеевна варила какие-то травки, коренья, томила из них кашицу, пекла лепешки, кормила Клаву, ухаживала за ней, как за дочерью. Все казалось ей, что собственная дочь ее в медсанбате, ранена и попала в плен и так же измучена и истощена, как Клава.

Раны на ногах медленно затягивались. Это от нее, от Ксении Алексеевны, Клава стала готовиться перейти линию фронта. Ксения Алексеевна наготовила ей лепешек и накануне всю ночь молилась за благополучный исход. Утром вместе с Феней пошла ее провожать.

Уже после освобождения выяснилось, что партизанка Вера Великая бежала.

Было интересно сравнить ее письмо с тем, что рассказала о себе Клава Вилор.

«Однажды ночью меня и другую партизанку нашего отряда Шуру Стеблякову толкнули в камеру № 3. Заговорив, мы узнали, что тут женщина. Познакомились. Она была ранена в обе ноги в тридцати пяти километрах от Сталинграда, политрук РККА Вилор Клавдия Денисовна. В тюрьме мы сдружились. Вилор Клавдия вела себя прекрасно. Мы громко пели революционные песни, вели себя вызывающе по отношению к полицейским и немцам, называя их легавыми. Вилор К. вела себя как подлинная патриотка нашей Родины, ненавидевшая немцев, и в этом ужасном застенке держалась стойко, мужественно, гордо. Мы знали много друг о друге. Клава всегда подбадривала, придавала нам силы своим спокойным голосом. Она научила нас не унывать и научила бежать. И мы ее завет осуществили... С допросов Клава возвращалась избитая, измученная... Но врагам не удавалось узнать от Клавы ни слова полезного. Очень жаль нам было расставаться с нашей подругой. Ее приговорили к расстрелу. Немцы ее звали комиссаром. Нас отправили в концлагерь СД, будучи там, однажды я узнала от вновь прибывших, что 25 января 1943 года К.Вилор бежала. Я была рада, как за собственную жизнь... 20 февраля 1943 года, когда Красная Армия, наша освободительница, подошла близко к городу Макеевка, немцы в панике бежали, захватив с собой мужчин, а женщинам чудом удалось спастись. Я разыскала дочку К.Вилор Нелличку...»

Феня отправилась провожать ее дальше, через рудник, чтобы Клаву не задержали. И действительно, там встретили их двое полицейских, потребовали у Клавы документы; Феня сказала, что они из Чулковки; полицейские, которые знали Феню, пропустили их. Когда полицаи скрылись, Феня распрощалась, и Клава осталась одна.

Вечером она пришла в Мосино. Никто не согласился пустить ее переночевать, она стучалась, просилась, прошла до дальнего хутора и наконец забралась в скирду соломы. Она понятия не имела, что происходит на фронтах: наступают наши, отступают, где проходит передний край, но слух уже прошел, что немцы под Сталинградом разгромлены, уничтожены, что Сталинград не только выстоял, но и победил. Туда, к Сталинграду, она и шла и будет идти, ползти, пока душа шевелится.

И опять же я по себе помнил странную эту уверенность, с какой мы шли из окружения к Ленинграду. Хлюпали по болотам, по ночным лесам, не оставались ни в партизанских отрядах, ни в деревнях. Нам говорили, что Ленинград взят, а мы только отмахивались. Таллин, Псков, Новгород, Луга — сколько городов уже оставлено нашими и сколько еще предстояло оставить, но не Ленинград, только не Ленинград. Это было чувство, иногда похожее на заклинание, иногда на самовнушение: не может так быть, чтобы немцы разливали по Ленинграду, невозможно это...

Утром пошла дальше — в Кутейниково. Шла целый день. Кругом копали окопы. Остановиваться было опасно. По всем селам объявлен карантин: свирепствовал сыпной тиф. Въезд и выезд были запрещены. Она не знала, как ей пробраться в Кутейниково. На всякий случай пришла туда тогда, когда стемнело. И опять никто не согласился дать ей ночлег. Боялись и немцев, боялись и тифа.

Встретив на улице женщину, она, потеряв всякую осторожность, попросила ее дать ночлег. Женщина осмотрела Клаву и, конечно, спросила:

— Ты что, военнопленная?

— Да.

И тогда она ее пустила, накормила, уложила спать. Рано утром в хату вошли двое полицаев. Один из них — муж хозяйки. Случайно они нагрянули, предупредила ли их хозяйка — так Клава и не узнала. Они сразу забрали Клаву и направили в лагерь здесь же, в Кутейникове. Убежать отсюда оказалось нетрудно. Вечером она перелезла через забор, ушла в степь.

Теперь она стала двигаться еще осторожнее. Направилась через кирпичный завод к селу Ивановке. Ночевала ночью в степи в скирде. Где-то выли волки, ревели моторы... Она закапывалась все глубже в солому. Утром еле выбралась, дошла до Екатериновки. На окраине села ей повезло: пустили в хату старики Штода. Старуха рассказала, как на прошлой неделе здесь повесили четырех комсомольцев, посоветовала идти дальше, к ее дочери Екатерине, в хутор Новопавловский, что под Репиховкой. Екатерина обязательно примет и поможет устроиться куда-нибудь. Здесь же в любую минуту могли зайти патрули.

Она слушала старуху сквозь забытие. Снова надо было куда-то идти, в сторону, опять не к фронту, а силы кончаются. Снежная каша чавкала под ногами, дороги ветвились, петляли, и, казалось, она обречена всю жизнь брести и брести. В Репиховке, совсем обезножив, она постучалась в первую же хату. Раны ее открылись. Дальше она не могла двигаться. Рассказала о себе, что она медсестра, военнопленная. Это был дом Марфы Ивановны Колосниковой. Марфа Ивановна предложила пожить у них. Семья была большая — три сына, две дочери. Они хотели уйти в армию, эвакуироваться с нашими войсками, но по дороге их колонну немцы отрезали, и они возвратились домой.

После войны Клава получила такое письмо от одной из дочек:

Здравствуй, роскошная роза!

Здравствуй, прекрасный букет!

Здравствуй, любимая Клава!

Шлем тебе сердечный свой привет!!!

Клава, прилет горячий посылаем.

Целуем много-много раз.

Всего хорошею желаем

И не можем забыть о вас.

Далее это торжественное вступление сменяется сердечными словами:

«Приезжай к нам в гости, Клава. Без тебя не с кем посоветоваться. Безродные мы теперь втроем — я, Шура и мама. А ребят нет: Андрюша с Ваней в армии. Отца нашего не слышно, и не слышно брата Феди.

Клава, пожалуйста, не забывай нас.

Колесникова Мария Федоровна».

Колесниковым она призналась, кто она такая.

Она заметила, что люди, узнав, что она политрук, что она бежала из тюрьмы, сперва пугались, потом многие смелели. Подобное признание налагало на людей ответственность, они становились как бы соучастниками. Они ее прятали, они ей помогали, следовательно, они что-то делали. Это было очень важно здесь, в немецком тылу, — дать возможность людям что-то делать.

К Колесниковым приходила молодежь. Клава разучивала с ними песни, фронтовые, а то и просто самодельные, высмеивающие фашистов и предателей. В селе все это не могло остаться незамеченным. За ней стал следить полицай, и она была вынуждена уйти на хутор Новопавловский.

Там Екатерина Штода помогла устроиться на работу к хуторянке Варваре Вольвич. Муж ее воевал, а до войны работал директором совхоза. Она же, то ли вынужденно, то ли по характеру своему, быстро приспособилась к немецким властям, угощала их, оказывала им мелкие услуги и создала для себя довольно сносные условия жизни.

Клава ходила обрабатывать ее поля — полола, окучивала, мотыжила. Но и там, в поле, она старалась собирать вокруг себя молодежь, а потом и старших селян и рассказывала им о подвиге Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, о капитане Гастелло, все то, что знала, весь тот политматериал, с которым работала в армии, вернее — все те случаи, которые ей были известны до плена. Ее слушали здесь иначе, чем в армии. В армии это непосредственно как бы переходило в действие, укрепляло дух солдат, здесь же повергало людей в задумчивость, в угрюмость, в тоску, у каждого по-своему терзало совесть, требовало действия от мужчин, кто по тем или иным причинам остался в тылу у немцев.

После Сталинграда немцы предприняли контрнаступление. В начале марта они нанесли удар в районе Люботина, шестнадцатого марта вновь овладели Харьковом, пошли на Белгород, захватили его, заявили, что цель их летней кампании 1943 года — взятие Москвы. Их пропаганда старалась изо всех сил.

Постепенно установился обычай идти вместе с Клавой в поле. Ее даже спрашивали, пойдет ли она, и если она шла, то хуторяне шли охотно. В поле они были в безопасности, садились вокруг нее и слушали. Ее звали «ходячая книга».

Не так-то много книг по истории она прочла, но оказалось, что биография ее часто и по-разному связана с историей страны. Это было даже поразительно — обнаруживать в своей жизни подобные связи. Дома у них — она вспоминала — останавливался Буденный (она уже точно не помнила, с кем из старших братьев он был связан), помнила она, как жил у них в доме Василий Иванович Книга, бывал Литвиненко, а потом и Апанасенко. Это все были легендарные герои гражданской войны, которых помнили и здесь. Два ее старших брата организовали в те годы партизанские отряды на Ставрополье.

В доме хранили оружие красных, знамена. Все это было для нее когда-то само собой разумеющимся, и вдруг она обнаружила, что это, знакомое ей с детства, звучит как история, которая волнует людей. Оказалось, что материал можно черпать не из книг, а из своих воспоминаний, в жизни ее семьи тоже отразилась История. Рассказывала Клава и про комсомольскую ячейку, которую создали ее братья, — первую в их селе Дивном комсомольскую организацию. Про то, как белогвардейцы посадили ее мать за содействие красным, потом собрали все село, решив публично ее повесить. И дальше, как селяне подняли шум, вмешался священник, отец Ипатий, и в конце концов ее освободили. Тут же она

рассказывала и про подвиг Зои Космодемьянской, не потому, что она его знала так хорошо, — наоборот, она его знала лишь из газет, — но потому, что в судьбе Зои было что-то сравнимое с ее собственной судьбой, и она раскрашивала, расцвечивала эту историю, вкладывая в нее собственные переживания, отдавая Зое свои муки и страхи, наделяла ее своей болью.

Хуторяне работали за нее в поле, приносили поесть, попрекали хозяйку: «Тоби, Варька, соромно людыну мучаты. Вона, бачишь, яка хвора».

Местные полицаи, Спиридон и Степан Штода, решили было повести ее в жандармерию, в село Екатериновку. Хуторяне стали отговаривать их: «Ну шо вона вам зробыла?..» Она прикинулась, что совсем обезножела, везти ее было не на чем, и до поры до времени ее оставили в покое. Но она понимала, что все это до случая.

Она выбрала из молодых ребят троих, самых активных, договорилась с ними перейти линию фронта. Тайком собрались и отправились.

По дороге, не доходя до Матвеева Кургана, наскочили на минное поле. Один, самый молоденький хлопчик, подорвался, другие были задержаны, а Клава случайно выскользнула, скрылась.

Неудача подкосила ее, и крепко. Со всех сторон она была виновата: и в гибели того хлопчика, и в судьбе тех, которых схватили, угнали в Германию. И то, что сама она осталась при этом невредима... Увлечь сумела, провести не смогла.

А они ей поверили: как же, военная, догадывались, что офицер Красной Армии, ей тут все верили, каждое ее слово ловили.

Но что она могла обещать? Фронты с апреля перешли к обороне. Все ее надежды на быстрое, безостановочное наступление наших войск не оправдались. И силы ее иссякали, она не знала, дотянет ли.

Начинался третий год войны. Был июнь, лето стояло ветреное, легкое, с быстрыми дождями. Некошеные одичалые травы поднялись высоко, цвели не виданные раньше в этих краях цветы, с белым влажным тычком посреди маковых лепестков. Тычки были похожи на пальцы, указывающие на небо.

Целыми днями она лежала в степи. Не было ни сил, ни желания что-то делать, идти, говорить. Да и что она могла сделать? Все потеряло смысл. На что надеяться? Скитаться по хуторам, пока не изловят и не отвезут в Сталине? Прятаться, спасая свою шкуру? Подвергать других людей опасности? Надоело видеть страх, рабство.

Где-то под Харьковом действовали партизаны, там воевали, но туда не добраться, — и мечтать нечего с ее-то ногами.

Из пяток у нее сочился гной, большой палец на руке не заживал, там была гниющая рана. Ноги опухли. Нарывы, вши... Кому она нужна такая — ни подпольщикам, ни партизанам, ни себе самой, — всем обуза. Выходит, только немцам она нужна — для расстрела.

И людям, что шли к ней за утешением, она теперь не находила что сказать. Она пряталась ото всех. Что-то хрустнуло у нее внутри. У самых сильных вдруг рвется душевная струна, гаснет свет, и тот источник, что питает душу стойкостью, неизвестно почему иссякает.

Люба Ятченко не оставляла ее, приходила в степь, подкармливала; глядя на нее, Клава не могла понять: откуда это Люба находит в себе силы жить. Откуда находят силы Колесниковы, Зацепины, Алексины — терпеть голод, видеть, как мучаются их детишки. Зачем жить среди

этого нескончаемого унижения, бессловесности, голодухи, издевательств? Для чего?

Как будто такая жалкая жизнь имеет какой-то смысл или цель. Ради чего ей, Клаве Вилор, терпеть эти мучительные боли, страдания своего тела? Чего ради? В тюрьме она знала, что отвечать полицая, предателю Виктору. Теперь же, на воле, в открытой степи, она была бессильна перед обступившими ее вопросами. Для чего страдать, тянуть эту лямку, цепляться за каждый день?

Все, что привязывало ее к жизни, все разом отпало, показалось незначительным, нестоящим, она смотрела в это небо, что раскинулось над ней в своей вечной невозмутимой красе, безразличное к железному гулу самолетов. Летели бомбардировщики. Земля сжималась, все живое затаивалось, но само небо было как в детстве.

И запахи были из детства, и пчелы. Казалось, что она сейчас вскочит девочкой, в коротеньком платьице, побежит домой, подпрыгивая и напевая. Почему она прячется? На своей земле, под своим небом? Как все это получилось? Как фашисты очутились здесь, в середине России, в ее степях? И отчего она, Клава Вилор, живет под чужим именем, перестала быть собой, от себя самой прячется?

Она задавала себе те самые вопросы, какими осаждали ее хуторяне. Что же она отвечала им? Она пробовала вспомнить и не могла. Какие-то — для них — она находила слова, для себя же слов не было.

Она всегда умела ответить колхозникам про отступление, про неудачи наших войск, приводила причины, находила оправдания, объяснения.

Впервые она сама себе задавала вопросы, без оглядки, напрямую.

Внутреннее чутье подсказывало, что мысли эти ослабляют ее, они не нужны, они разрушают ее волю. Другому, может, это и полезно, ей же не стоит копаться в себе, пробовать отвечать на эти вопросы.

Грязная, немощная, в рваном своем сарафане, лежала она среди цветущего душистого травостоя. Не хотелось приводить себя в порядок. Не было ни жалости к себе, ни отвращения. Она бесчувственно смотрела, как по ней ползают вши и какие-то маленькие черные муравьи. Изредка облачком наплывала мысль о дочке и таяла. Ничего не оставалось в душе онемелой, опрокинутой, как это пустое, обманное небо.

Если бы у нее хватило сил покончить с собой! Она надеялась, что жизнь сама уйдет из ее измученного, уже не желающего существовать тела.

— Неужели вам не хотелось узнать про победу?

— Хотелось.

— Так как же вы... Это же сорок третий год, когда война вошла в полную ярость. У нас, например, каждый мечтал добраться до Берлина, хоть глазком одним взглянуть на конец войны, а там уж, пожалуйста.

Клавдия Денисовна смотрит на меня с удивлением.

— Действительно... Я ведь тоже...

Она не может сейчас объяснить себя тогдашнюю. И я тоже не в силах понять отчаянья той Клавы Вилор. Если бы еще в сорок первом году, при отступлении, а то в сорок третьем, после Сталинграда.

Мы вместе с ней пытаемся разгадать, каким образом она вышла, выкарабкалась из того состояния. Мы занимаемся разбором ее поведения, и она готова осудить свое малодушие, вернее, свою тогдашнюю ограниченность. Но ведь она так была оторвана, так мало знала... Незаметно она старается как-то оправдать себя, приукрасить наивные свои понятия, скрыть, приуменьшить свои заблуждения. Я останавливаю ее. Мне не нужны ее поправки, они мешают видеть, какой она была. Мы много поняли и узнали за эти десятилетия и невольно переносим свой опыт в те военные годы. Мы видим себя умными, дерзкими, критически мыслящими лейтенантами, знающими, кто чего стоит, и как кончится война, и как надо наступать, понимающими значение Сталинграда и замыслы наших маршалов.

Но мне дорога та Клава Вилор и в своей слабости и отчаянии, и в жестокости и безоглядности.

Через нее я восстанавливал и какие-то собственные черты. Какими были мы, танкисты третьего полка тяжелых танков, и солдаты второго укрепрайона. Каким был мой комиссар Медведев.

Может, помогло Клаве Вилор выкарабкаться из отчаянья то, что кажется нам сегодня нетерпимостью, прямолинейностью.

А может, подействовали речи Любы Ятченко про силу советского народа и обреченность фашизма, о превосходстве наших идей, о возрастающем упорстве и мастерстве Красной Армии.

Люба по-своему, поглубже, попроще пересказывала Клаве Вилор ее собственные доводы и примеры. Клава с трудом узнавала их. Они возвращались усиленные, окрепшие от повторов. Было там много общих слов, так что становилось совестно, и непонятно было, почему они действовали, но и добавлены были раздумья, накопленные долгими ночами матерей и солдаток.

Вероятнее, все-таки сыграло тут другое — Клаву разыскали комсомольцы Иван Колесников и Николай Ятченко. Их вызвали на регистрацию: то ли рыть окопы, то ли собирались отправить в Германию. Они пришли к Клаве за советом. Им не было дела до ее уныния, до ее болей. И это было правильно. Они хотели знать, что делать. Они даже не совета ждали, а указания. Клава прикинула и так, и этак, предложила им скрыться, уйти в степь. Она сама ушла с ними подальше, несколько дней пряталась в посевах подсолнуха.

И наступило обновление. Проще всего объяснить это, как выражались в старину: «На нее снизошло». Туманно и вместе с тем определено. Потому что, бывает, после долгих терзаний, сомнений, поисков вдруг каким-то толчком открывается, приходит то, что называют прозрением, причем чаще всего самое что ни на есть простое, вроде очевидное понимание, стыдно, как это раньше не подумалось, такое само собой разумеющееся, единственное.

Дело ее ясно определилось. Отныне она шла с хутора на хутор не странницей в поисках приюта, не беглянкой... Какое ж это было дело? Что она могла — бездомная, калека, преследуемая, живущая под постоянной угрозой быть выданной, схваченной?..

Могла беседовать с людьми, рассказывать про Сталинград, про фашистские лагеря. Могла утешать людей, советовать, укреплять их дух. Все это она уже делала. При каждом удобном случае старалась делать; теперь же, вернувшись из степи, она утвердилась в этом как в своем прямом назначении. Словно бы она для этого здесь находилась.

Но было и другое. Она могла не только подбадривать, она должна была и тревожить, спрашивать с людей, не только утешать, но и взывать к их совести. Она не сторонилась ненадежных, малодушных. Она шла к ним и предупреждала, чтобы они не помогли немцам. Она тревожила, даже угрожала. Она строго допрашивала, она стыдила. Можно было подумать, что она являлась как представитель, как специально посланная, засланная, уполномоченная.

Она предлагала прекратить всякую помощь немцам. Скоро, имейте в виду, очень скоро придется за эту помощь, за пособничество ответить! Придут наши и спросят.

Зайдя к своей хозяйке Варваре, она застала ее за шитьем немецкого мундира.

— Зачем вы это делаете? Какая нужда вам? — допытывалась Клава. — Вы что, голодная сидите? Разве вас немцы заставляют?

— Вот именно заставляют, — сказала хозяйка.

— Ничего подобного. Вы сами взялись. Я вас предупреждаю: пока не поздно, отдайте им обратно.

— Что значит — «не поздно»? Да ты кто? Какое твое дело?

— А то, что вас будут считать фашистской прислужницей. Как вы станете оправдываться? Хотя бы — перед мужем? Он же у вас коммунист. Думаете, он вам простит?

Хозяйка кричала, гнала ее, плакала. Вернуть немцам «фрицевки» она не решалась, но и Клавы боялась. Казалось — чего проще отделаться от Клавы: стоило шепнуть кое-кому, и в тот же день ее забрали бы в гестапо, она исчезла бы навсегда. Толкни ее — она упадет, такая слабая, чего ее бояться, стукни — и не встанет... Однако это ничего бы не изменило. В том-то и сила ее была, и все это чувствовали. Она была не она, не Клава Вилор, или Катя, как называлась она в тех местах, она была всего лишь напоминание о долге. Ее воспринимали как нечто почти безликое, почти служебное, вестник, голос предостережения.

Она приходила к женщинам, которые работали при немецких столовых, прачечных, госпиталях, на дорогах, в мастерских, требовала саботировать, предлагала не выходить на работу. Некоторые соглашались, другие уступали, утраченные ее угрозами, третьи возмущались, кричали ей: а кто детей кормить будет? Она? Лозунгами их не накормишь. И листовку им не сваришь. Детям каждый день что-то надо жевать. Сама-то она небось чужой милостью кормится, не от Красной Армии довольствие получает.

Ее не щадили. Она понимала безвыходность их жизни, но глухо стояла на своем: нельзя работать на немцев. А дети? Как быть с детьми, со стариками, они, что же, должны помереть? Да, лучше помереть, издохнуть... Как же она может, мать она или изверг? А как они могут: ведь дети подрастут, им скажут — вот чем мать ваша занималась в войну, — так они вас проклянут, будут стыдиться.

Случалось, что ее ругали, гнали, а она твердила и твердила свое. У нее не было тогда еще никаких связей, одиночество в этих незнакомых ей местах угнетало ее, и все же она продолжала действовать безжалостно, уверенная в своей миссии.

— Что-то тут не так, — говорит Клавдия Денисовна.

— Давайте исправим.

— По фактам все правильно, а вот... Неужели я не считалась ни с чем?

— Я ведь иду по вашим записям, которые вы делали спустя два года после войны. Есть еще ваши объяснения для парткомиссии, есть материалы проверки.

— Что ж, я и детей не жалела?

— Может, и жалели, а все равно требовали.

— Даже не верится.

— Это всегда так. Легче понять другого, чем самого себя. Вам кажется, что вы были не такая, но, может, это потому, что вы изменились, а та Клава Вилор осталась прежней.

— Скажите, разве так может быть, чтобы тогда было правильно, честно, а теперь за то же самое неловко?

— У меня так было.

— Может, мы все же тут насочиняли, может, вы от себя прибавили?

Я старался излагать факты, не оценивая их от себя, не делая выводов, не рассуждая о поступках моей героини, я ничего не сочинял, хотя ничего плохого нет в этом слове, литература — это всегда сочинение, сочинительство. Но по крайней мере я пробовал свести тут сочинительство на нет, как мог — вытравляя, вычеркивая. Полностью отстраниться я не мог.

С какого-то предела характер стал рассыпаться на факты, даты, поступки... Я перестал понимать своего героя. Чтобы понять, я должен был додумать, совместить, придумать — значит, все-таки сочинить, со-чинить. Узнать было не у кого. От той военной поры у каждого сохранилась своя Клава Вилор, малая часть ее истории.

Мало-помалу она все же продвигалась ближе к фронту.

Шла от хутора к хутору, из села в село. Повсюду оставляла записки с адресами родных, чтобы в случае гибели сообщили о ней.

В селе Марфинка, уже Ростовской области, поселилась, совершенно случайно, как это всегда бывало, у Муратовой. Жила Муратова с тремя детьми в сенях своей горелой хаты, которую сожгли за то, что Марфа Семеновна Муратова прятала военнопленных. Еды не было, дети были такие слабенькие, что ходили, опираясь на палочки. Клава посоветовалась с Марфой Семеновной и пошла проситься на работу к местному врачу Погребной, в больницу. Амбулатория и больница обслуживали местное население и существовали за счет тех продуктов, какими расплачивались пациенты.

Клава выдала себя за медсестру. Вид у нее был ужасный — рваный сарафан, босые распухшие ноги забинтованы солдатскими обмотками.

— Я военнопленная. Медсестра. Помогите мне. Дайте мне работу.

Погребная вежливо отказала, посоветовала идти в тыл, там устроиться легче. Здесь, в прифронтовой полосе, немцы придираются, проверяют...

— Мне нужна работа у вас, — повторила Клава, глядя ей прямо в глаза.

Значительно и твердо сказала, что в тыл не пойдет, там ей делать нечего, ей необходимо быть здесь. Понятно?

В кабинете врача находились медсестры, все смотрели с опаской на эту оборванную просительницу с мрачно горящими глазами.

Погребная стала пояснять, что штатные места все заполнены, показывала какие-то бумаги, Клава отодвинула их, сказала, что ей необходимо поговорить с Погребной наедине, что она придет к ней вечером. Она заставила дать адрес, именно заставила, пользуясь тем, что ее боятся. Какая-то гипнотическая сила росла в ней.

Конечно, риск был. Погребная могла пожаловаться полициям, вечером Клаву ожидала бы засада. Почему-то, однако, ей все сходило, ее не выдавали, чем требовательнее она держалась, тем надежнее она себя чувствовала.

Красная Армия наступала, самолеты сбрасывали листовки, сообщая, что наступление на Курском и Белгородском направлениях будет продолжаться, пока полностью не изгонят оккупантов. Ощущение приближающихся наших охраняло ее.

Придя к Погребной, она попросила удалить детей и рассказала Софье Алексеевне все про себя, вплоть до того, что сбежала из гестапо, хочет перейти к своим, просит дать ей работу, чтобы пережить это время, а как будет возможность, она перейдет фронт.

Она говорила ровно, без всякой интонации, словно диктуя. Погребная не собиралась уступать. Она твердо стояла на своем. Вовсе не за себя она боялась. Как врач она прежде всего отвечала за больных в своей больнице, она не имела права подвергать их опасности, нанимая беглого политрука, которого ищет гестапо. Пострадал бы, несомненно, и лечебный персонал — медсестры, санитарки; есть, наконец, у нее, у Погребной, дети, о них она должна думать.

У Погребной было много доводов, и все же она поддалась, против своей воли, против всякой логики. Согласилась взять медсестрой без оплаты, давать ей хлеб, яйца, огурцы, что получают от пациентов. Условие она поставила одно: не заниматься агитацией среди больных. Категорически. Чтобы не навлечь репрессий на персонал.

Клава обещала. Она согласилась охотно, мечтая лишь о том, как бы прокормиться и прокормить детей Марфы Семеновны. Легкое это условие оказалось, как ни странно, самым трудным. Для нее, для Клавдии Вилор. Она подсаживалась к больным, прежде всего мужчинам, и не могла удержаться, чтобы не прочесть им очередную листовку, прикидывая с ними, когда наши войска войдут в Марфинку: то ли в конце августа, то ли в начале сентября. Некоторые ей не верили. Она спорила, убеждала. Вскоре об этих разговорах стало известно.

Погребную вызвали в гестапо, расспрашивали про Клаву. Она вернулась бледная, напуганная, однако Клавды не выдала. Это был поступок. Она исполнилась самоуважения. Неприятности, которые Клава доставляла людям, все же окупались. Погребная потребовала немедленно прекратить разговоры с больными. Клава обещала, и опять у нее сорвалось. Тогда Погребная предложила покинуть больницу. Вот это Клава отказалась сделать. Софья Алексеевна Погребная не знала, как поступить. Прибегнуть к помощи властей — означало предать, донести, этого она не могла, но и рисковать больше она не имела права. Она требовала, она просила, умоляла Клаву ради своих детей. Непреклонность Клавды возмущала Погребную: ведь здесь же не на немцев работают, здесь лечат своих, русских людей, — какое же оправдание есть у Клавды так жестоко вести себя? Право войны, отвечала Клава, на войне ничего нельзя жалеть для победы, ничего, все для победы, все!

Погребная заплакала. Наверное, она ненавидела Клаву в тот миг за бесчеловечность, и, вероятно, ее можно было ненавидеть. Но впоследствии Погребная всегда вспоминала о ней с

уважением. Видимо, какой-то последней черты справедливости Клавдия Вилор все же не переступала.

Спустя несколько месяцев после прихода наших войск Софья Алексеевна прислала Клаве такое письмо:

«Добрый день, милая Клавдия Денисовна! Посылаю Вам характеристику, как бывшей сотруднице моей, медсестре русского лазарета.

Когда нас немцы выслали с Марфинки, я со своей сестрой ушла к родственникам, и, как только советские войска вошли, я сейчас же послала письмо командиру, в котором сообщала о Вас и просила оказать Вам помощь... Меня интересует, нашел ли он Вас... И так, я до сего времени не могу забыть тех страшных ужасов, какие мы пережили в период оккупации. Никак не верится, что остались живы. Я очень рада, что Вы живы и дочь Ваша жива и здорова... Мой муж погиб в бою за социалистическую Родину в ноябре 1942 года и похоронен в г.Сочи, брат тоже убит. Единственное утешение, что Красная Армия быстро движется вперед. Работаю врачом в районной амбулатории.

Всего Вам наилучшего. Погребная».

Все же Клава ушла из лазарета. Сама. Во время ночного дежурства надо было сделать укол больной. Клава не сумела это сделать. Больная умерла. Медсестры обвинили Клаву в этой смерти. Погребная защитила ее, заявив, что больную нельзя было спасти. После этого Клава решила уйти.

Все три медсестры ее не любили. Вместо ухода за больными они напропалую гуляли с немецкими офицерами. Посреди дня за ними приезжали на машинах, на мотоциклах. Никакие Клавины уговоры не действовали.

«Мы не с немцами гуляем, а с мужиками, — говорили они. — Вреда никому, а нам польза».

«Наше дело молодое, — говорили они, — незамужнее. Мы тебя не трогаем, и ты нас не зацепляй».

«Завидуешь? — говорили они. — На тебя, такую, конечно, не польстятся».

А у одной из них образовалась настоящая любовь с немецким капитаном.

Ничего подобного Клава принять не могла, называя их последними тварями, грозила, ругала, и опять же девки эти, не любя ее, понимали ее ненависть, не каялись, но и не мстили ей. И когда Клава уходила, по-своему хотели помочь, устроить ее в немецкий госпиталь, где дадут паек, по крайней мере она спасется от голода. Обещали рекомендовать ее через своих дружков.

Нервы у Клавы не выдержали. Кажется, впервые за время своих мытарств она сорвалась. Затопала ногами, исступленно закричала, подняв кулаки: «Побираться пойду, издохну, а фашистскую сволочь лечить не буду! Стрелять их, а не лечить! Стрелять всех фашистов, душить, и раненых душить буду!»

Вопила на весь лазарет и такое, что за годы оккупации разучились произносить даже шепотом.

Голос ее гремел, вырывался в распахнутые окна, на улицу, запруженную военными грузовиками.

В кабинете врача все заткнули уши, зажмурились, не зная, что делать с этой бешеной. Испуг окружающих подхлестывал Клаву. Вкус слов запретных, потаенных опьянял. Она кричала,

наслаждаясь своей, пусть минутной, безоглядной свободой. И злорадство владело ею, и торжество.

— Прекратите! Иначе я сообщу про вас в комендатуру, — сказала старшая сестра. — Вас не просто заберут. Вы понимаете это?

— Еще бы! Да только вы не сообщите.

— Это почему же?

Клава вдруг успокоилась, посмотрела на нее с жалостью:

— А как вы тогда жить будете?

Она знала, что втайне они ненавидят фашизм. Ей хотелось вызвать эту ненависть наружу. Хотя бы тем, чтобы заставить думать о будущем, том будущем, которое надвигалось вместе с грохотом бомбежек, с надеждой, с освобождением, справедливостью, возмездием.

Папка, набитая письмами, справками, характеристиками, отзывами.

Часть из них — документы, которые Клавдия Денисовна вынуждена была собирать в 1948—1949 годах, когда ее исключили из партии и она писала протесты в парткомиссию, в ЦК, собирала материалы, свидетельства, чтобы как-то опровергнуть нелепую формулировку обвинения: «...недостойное поведение тов.Вилор, которое выразилось в том, что сообщила в гестапо свою принадлежность к партии и службу в Красной Армии».

Ее товарищи возмущались несправедливостью, протестовали смело, писали: «Как коммунист заявляю, что с т.Вилор поступили жестоко, исключив ее из партии, тогда как она заслуживает награды и уважения за свой подвиг».

Вера Великая писала:

«Вилор К.Д. достойна высокой правительственной награды: она проливала кровь за Родину, вела себя всегда как настоящий коммунист, политрук».

Вместо наград были письма людей, с которыми она встречалась в долгой своей одиссее. Письма стали приходить сразу после освобождения Донбасса, они и ныне — как дорогая награда, может, самая дорогая. Подписаны они уже знакомыми нам именами, но иногда и неизвестными, теми, про кого Клава забыла упомянуть, а то и просто случайными знакомцами, которым врезалась в память эта женщина.

Больше всего писем деревенских, на тетрадных листках, разлинованных карандашом, сложенных треугольником, коряво написанных, полуграмотно, тесно, чтобы каждое местечко заполнить.

Каким-то образом узнавали, что она спаслась. И сама она разыскивала своих спасителей. Долго еще прибывали те записочки... Иногда приходили и такие письма:

«Здравствуйте, Клавдия Денисовна! Может быть. Вам покажется странным, кто пишет Вам это письмо. Может быть, Вы хорошо помните мою мать, которая помогла Вам выйти из немецкого тыла, — это Ксения Алексеевна Пискунова. Да, хорошая у меня старуха; видимо, спасая Вас, она думала, что спасает меня, так как я была, в тяжелые дни для Родины, на фронте медиком и была тоже под Шахтинском, и под Изюмом, и под Барвенковым...»

А Клава тоже слала свои бумаги по многим адресам:

«Председателю Анастасиевского райисполкома.

Прошу оказать помощь семье военнослужащего, проживающего в селе Марфинка, колхоз им.Луначарского, Муратовой Марфе Семеновне.

В 1943 году, сбежав из гестапо, я пришла в Марфинку с целью соединиться с нашими передовыми частями. Меня приютила, поддержала, сохранила мою жизнь Муратова М.С., которая знала, кто я есть... Кроме меня, она, рискуя собою и своими детьми, сохранила жизнь многим военнопленным... В настоящее время Муратова М.С. находится в крайне тяжелом материальном положении. У нее нет жилья, она остро нуждается материально. Узнав об этом, я не могу ограничиться молчанием...

К.Д.Вилор».

Это была та самая Марфа Семеновна Муратова, которая спасла до Клавы, как потом выяснилось, двенадцать советских военнопленных. Клава была тринадцатая.

К Муратовой и возвратилась Клава из лазарета.

Возвратилась в голод. Не позволяла себе взять ни кусочка у голодающей семьи. С утра уходила из дома в поисках работы. Однажды она попала к Цапиной, которая имела большой фруктовый сад. Клава нанялась работать в саду без всякой оплаты, лишь бы разрешали есть яблоки. Вечером она возвращалась к Муратовым, напихав за пазуху опадыши. По ночам вместе с детьми тащила по полям тачку, выкапывала бураки и везла их домой. Четыре свеклы в день на пять человек. Вот чем поддерживали жизнь в те времена.

Муратова выдавала ее за сестру Екатерину, которая действительно у нее была и жила в Таганроге. Впрочем, немцы не обращали внимания на это измученное, оборванное существо, ее почти не замечали, как не замечали старух побирушек, богомолков.

У Муратовой она познакомилась с танкистом по имени Дмитрий и получила от него задание узнать, где тут, в Марфинке или в Синявке, склад боеприпасов. Полученные сведения он должен был куда-то передать по радию. До сих пор она, кроме имени, ничего больше не знает об этом советском разведчике.

Это было за несколько дней до прихода наших войск. Клавдия Вилор выполняла его поручение, наконец-то она занималась тем, чем занимались партизаны, народные мстители, тысячи патриотов в немецком тылу.

Много новых имен, судеб, историй снова возникает в ее рассказах, но этот поворот открывает следующее повествование, связанное с отступлением немцев, приходом нашей 28-й армии и с тем, как Клавдия Вилор возвращала себе свое единственное заработанное в войну звание — политрук...

Из этой новой ее жизни, может, надо сказать про то, как наши самолеты бомбили Марфинку и Синявку, и прежде всего склады боеприпасов, которые разведала Клава. Склады были взорваны в Анастасьевке, в Селезневке и большой склад во фруктовом саду у Цапиной. Пожар охватил всю Синявку. Рвались снаряды, горели машины, дома. Клава плясала от радости, не видя, не слыша, как Марфа Семеновна плачет, жалея родную деревню и своих односельчан.

В семье Колосниковых, которую она посещала, за эти два с лишним года оккупации подросли младшие сыновья, вошли в призывной возраст и жаждали что-то делать, идти в партизаны, воевать, потому что им стыдно было ждать, пока их освободит Красная Армия. Фронт

приближался, нетерпение их возрастало. Клава успокаивала их — войны еще хватит на их долю. Немцы угоняли население, она уговаривала прятаться, днем с соседями уходила подальше от чужих глаз, в камыши.

«Обстановка в зоне Синявки заставила командира немецкой части собрать всех немцев и добровольцев русских и объявить район на осадном положении с круглосуточной усиленной охраной, боясь, что большевики могут сбросить десант.

Когда я узнала об этом распоряжении, я была вне себя, я все думала, что можно сделать для того, чтобы как можно больше насолить этим фашистским гадам. Знала, что командир немецкой части вовсе не подозревает, что во мне — грязной, завшивленной — народный мститель».

Это — из ее записей, сделанных после войны. Народный мститель — она присвоила себе это звание, оно нравилось ей, оно отвечало самым сокровенным ее чувствам.

«Привет в Ставрополь с моего дома!!!

Здравствуй, дорогая и много раз уважаемая Клабочка!

Посылаю я тебе свой пламенный чистосердечный привет и желаю тебе наилучших успехов в твоей жизни, и жму я тебе и твоей дочери правые ручки. Дорогая Клабочка, мы тебя дождаем каждый месяц в гости, а тебя все нет и нет, и не знаю я, когда ты уже приедешь, приезжай побыстрее... От Андрюши писем нет и нет. От папы и Феди писем нет. Клабочка, я как вспомню те дни, когда ты была у нас и ты пела нам песни, а мы слушали и волновались, так и сейчас сердце болит. И все вспоминаю свои и твои переживания и все, что мы пережили и говорили «отомстим». Клава, одних твоих врагов нет, Спиридона не слышно, где он, а про других я говорю всем, что вот скоро ты приедешь и отомстишь тому, кто за шкуру людей губил. Мы работаем и часто вспоминаем тебя в поле...»

Долго еще после войны ждали ее по хуторам и шахтерским поселкам во многих семьях. Ей бы надо было поехать. Если бы не дочь, не работа, не дела, связанные с исключением, а потом с восстановлением в партии, и если бы не болезнь...

Она была нужна. Ждали, что она приедет. Кого-то поддержит, утешит, с кого-то взыщет, кому-то подскажет, поможет.

Сохранились только эти письма, по ним можно восстановить ее переходы из семьи в семью, надежды, которые она оставляла, безверие, уныние, которые она исцеляла.

Каждый человек, каждая семья, хутор знал только часть ее истории, малую часть, связанную с ними, и лишь из писем, из воспоминаний, из материалов проверки восстанавливается нескончаемый путь этой изглоданной мучениями и ранами женщины. Босая, голодная, возникала она внезапно на пороге хаты, приведенная кем-нибудь, а чаще одна, неулыбчивая, со строгим иконописно-темным лицом. Исчезала на заре, в туманном холодке, в дорожной пыли или в снежной волчьей ночи. В памяти на годы оставался ее след, покрывался легендой. Считали, что она была кем-то послана. У нее была особая должность — советчицы, укорительницы, утешительницы. Она слушала. Она понуждала думать, верить. Она была как бы подразделением наших войск — не партизаном, не диверсантом, скорее всего, именно политруком. В сущности, она не сменила свою специальность: в рваном сарафане, без знаков различия, без аттестата и жалованья, она продолжала свою службу. Одним она внушала страх, другим — уверенность, третьим напоминала о долге.

Людям запомнилась она по-разному — как отчаянная, как суровая, как добрая, как неунывающая. Сохранилась, например, записочка: «Этот конверт исторический. Я его хранила восемь лет. Адрес мне продиктовала живая, веселая Клава. Если она жива, здорова,

пусть она мне напишет по адресу...»

Значит, была и такая — веселая. Плакать она разучилась, оставалось одно — смеяться.

Внешний облик ее, черты лица, глаза, движения — все то, что составляет наружность, — забывались быстро. Ее не успевали рассмотреть. В ее облике не было ее самой, соответствия. Так в блокадном Ленинграде ничего нельзя было разглядеть в черно-копотных обмороженных лицах женщин, голод превращал их всех в одинаковых старообразных, укутанных блокадников, где не отличить было ни возраста, ни красоты, память удерживала нечто общее, образ умирания и стойкости, предел человеческих мук и мужества.

Вера Великая писала ей: «Большое спасибо за фото, мне кажется, что я бы тебя сейчас не узнала».

Вера всматривалась в ее фотографию, совмещая это изображение с тем внутренним портретом, с тем характером Клавы, какой запомнился по полутемной камере.

«Бедная Клава! Сколько горя пришлось перенести тебе. Я думала, что теперь все будет обстоять прекрасно, но эта болезнь...» — писала Катя Анфимова.

Они воспринимали это как несправедливость. Они были разочарованы. Они так верили, что после Победы ее ждет счастье, спокойная жизнь, слава, нечто райское, недаром же она столько выстрадала. Кто же как не она должен быть вознагражден? Вместо этого, на нее обрушились новые невзгоды. Война не отпускала ее. Появились приступы, если по-народному, падучей: она теряла сознание, падала, билась об пол. У нее были отбиты почки, она страдала реактивным неврозом. Недуги нажились на нее. Окончательно подкосило ее еще исключение из партии в 1946 году.

Оказалось, что Клава Вилор вовсе не железная, не легендарно неуязвимая, что она из того же мира, где живут и Колесниковы, и Алексеевы, и Муратова, что и с ней могут обращаться не по заслугам, и она может быть слабой, обиженной, беспомощной.

Большинство ничего не узнало про ее беды. Они по-прежнему звали ее, ждали ее приезда. Она, как могла; скрывала свои неприятности. Не нужно, чтобы люди узнали про партийные ее дела. Не полезно. Тем более что должны были разобраться, все равно ее восстановят. Она хотела оставаться почти для всех, кто ее скрывал, кормил, спасал, счастливой, сильной. Пыталась казаться такой, какой они мечтали ее видеть: соответствовать. Пусть им будет приятно, что их усилия не пропали даром. Люди ведь больше всего любят тех, кому они сделали добро. Через Клаву Вилор многие из них приобщились к Победе, чувствовали какое-то оправдание своей жизни в оккупации, хоть в чем-то были сопричастны народной борьбе.

Клава рассылала письма, направляла ходатайства. На фотографиях, которые она посылала, рядом с ней были ее найденная дочь и муж-полковник. Она снова вышла замуж, все трое красивые, веселые — вполне счастливая семья. В конце концов, спустя десять лет, в 1956 году, когда ее восстановили в партии, все так и получилось, пришло в соответствие. Отпечатки прошлого сейчас в ее жизни еле заметны, остались малозаметные тюремные привычки. Например, она все время считает. Шагая по комнате, считает шаги. Считает ступени, поднимаясь по лестнице. Покупая, считает мандарины, считает пирожки, считает дни и часы.

Она не может смотреть фильмов о войне.

За исключением таких мелочей, это энергичная, деятельная женщина, которая воспитывает внушек, ведет хозяйство, принимает гостей. Никто из соседей, из нынешних знакомых не подозревает всего того, что с ней было. Да и близкие не знают подробностей.

Изредка, ночью, вдруг откуда-то из, казалось бы, наглухо запертых тайников вырывается не то стон, не то видение. Ров под Сталине, заполненный мертвецами. Машины привозят и сбрасывают погибших военнопленных. Тех, кто умер от ран, от голода. Многие еще живы, они шевелятся, когда немцы аккуратно посыпают ров хлоркой. Клава никак не может проснуться, она все стоит и стоит перед рвом, и к ней из-под белой шипящей известковой коры вылезают, тянутся руки...

И снова ее ведут к шурфу расстреливать...

Про эти сны она призналась случайно, когда речь зашла о предателях.

Армия продолжала наступление, а Клавдия Вилор осталась работать в полевом военкомате. Она обнаружила двух полицаев, которые выдавали советских военнопленных. На сборном пункте, куда приводили освобожденных военнопленных, она совершенно случайно обратила внимание на человека, который показался ей знакомым. Она стала присматриваться. Чем-то он был похож на того Виктора, старшину лагеря. На всякий случай она сообщила уполномоченному контрразведки. Его арестовали, устроили очную ставку с Вилор, и было установлено, что она не ошиблась, это и есть он, он самый, Виктор — мародер, истязатель, насильник, убийца. Его судили показательным судом.

С тех пор она целыми днями проводила на пункте сбора освобожденных военнопленных, стараясь выявить изменников. Она узнала и разоблачила Гапонова, Иваненко, Парамонова, двух врачей, нескольких полицаев — всего около двадцати человек.

Возмездие, жажда возмездия владела ею. Мечом карающим она себя чувствовала, за ров под Сталине, за шурфы, за все и за всех. Чем еще можно было ответить на все то, что она увидела и испытала?

Однажды в военкомат пришел старик и просил ее помочь вытащить девочек из подвала. Она отправилась с ним; взяла с собою четырех солдат. Девочки были его дочери, комсомолки. Когда пришли немцы, он выкопал в сенях неглубокую яму-подполье и спрятал их там. «Я бы выкопал глубже, — объяснял он, — так стала вода грунтовая проступать. Кое-как успел досками настлать». Они просидели в этом подвале больше двух лет. Кто же знал, что немцы столько пробудут. Теперь вот не выходят оттуда, боятся, не верят. Кормил он их тайком, спускал туда, в подполье, специально прилаженный ящик на веревках. В доме все это время жили немцы, и старик совсем извелся, он ни разу не мог туда спуститься к дочерям, ни разу не мог вывести на воздух. Он выглядел восьмидесятилетним стариком, совсем ветхим, хотя ему не было и шестидесяти.

Клава и так, и этак уговаривала их выйти, кричала девочкам в подполье, что фашистов уже прогнали, что вернулась Советская власть. Снизу доносилось неясное шуршание. Поставили лестницу, солдаты спустились за ними. Там был такой запах, что один из солдат потерял сознание. Девочек вынесли на руках. Закрыли двери, окна, чтобы постепенно привыкли к свежему воздуху. На расспросы Клавы они еле шевелили губами, издавая не шепот, а еле различимый шелест. Длинные волосы их свалились и стали бесцветными; Совершенно прозрачные волосы, ничего подобного Клава не видела. Кожа свисала, сухая, бумажная. Старик отец не узнал, не мог различить их. Со всеми предосторожностями Клава отправила их в госпиталь. Она не знает, что стало с ними, они остались в памяти, какими их подняли из подполья.

Такое терзало душу. Не знаю, смогла бы она вынести все, что с ней было, если бы она позволила себе усомниться, пожалеть врага, если бы душа ее не затвердела от ненависти.

Судьба предлагала ей немало искушений, причем не обязательно бесчестных. У нее были возможности остаться на хуторах, устроиться работать и жить, как жили некоторые, приспособиваясь к обстоятельствам. Ничем не поступаясь, никому не во зло. Было на это,

по-видимому, и моральное разрешение. Она была женщина, она обязана была думать о судьбе своей дочери, она была ранена, больна. Имелись разные самооправдания. Вполне уважительные. Она навидалась за эти месяцы достаточно слабостей у мужчин, у военных. Иные плакали, кончали с собой, смирялись, душевно ломались. Так что она тем более могла позаботиться о собственной жизни.

Она была одна среди этих хуторов, поселков, в том смысле одна, что никто от нее ничего не требовал. Если она что-либо решала, то сама для себя. Ей не у кого было спрашивать и не у кого было искать поддержки. Ей самой следовало находить свою линию поведения.

На что могла опираться ее душа? Каким таким свойством обладала ее душа?

Призвание? Особый дар, что совпал с ее званием политрука?

Лет двести назад она, может, стала бы проповедницей. Из подобных натур возникали святые, уходили в раскол, такие вели людей за собою проповедническим словом, примером.

Клавдия Денисовна Вилор верила не в чудо, а в справедливость и раздавала свою веру людям, у которых кончалась сила жить. В ней самой едва теплился огонек жизни, осталось лишь сознание своего назначения. И она брела от дома к дому, твердя, что мы победим. Ей не хватало фактов, доказательств, информации. Она действовала на мысли и на какие-то чувства, что есть, хранятся в каждом народе. Чем-то соответствовала той женщине-матери, в образе которой не случайно изображают Победу. Подвиги женщин всегда особые, будь то Орлеанская дева или Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина. Подвиг Клавы Вилор не обозначен поступком. У нее не было своей Голгофы. Подвиг ее растянулся на месяцы, это была жизнь, это был скорее не подвиг, а подвижничество. Она действовала одиноко, не имея ни задания, ни оружия, ни тайны.

Через историю Клавы Вилор я, наверное, старался понять собственное фронтовое прошлое. Когда я обернулся на свою войну, многое мне показалось невозможным, непонятно, как мы могли вынести такое, откуда мы брали силы. Человеку труднее всего увидеть самого себя и понять, каким он был много лет назад.

Мы знаем, кто мы такие сейчас, но не помним, какие мы были, на что мы были способны. И уж совсем забыли прошлые наши суждения. А ведь мы судили не так, как сейчас. Мы пришли на войну юнцами, и немудрено, что иные из нас готовы были валить на старших вину за наше отступление, за неудачи первых месяцев. Я вспоминаю себя и нескольких ребят из нашего взвода: мы были несправедливы и бездушны; только позднее уразумели мы, что поколение Клавы Вилор приняло на себя главную тяжесть первого года войны. Некоторые из них, из старших, казались нам в чем-то ограниченными, закоснелыми, подобно генералу Горлову из печатаемой тогда в «Правде» пьесы Корнейчука «Фронт». Мы находили у старших черты Горлова. Они говорили лозунгами и по каждому поводу толкали речи. Они все оправдывали. Они были слишком прямолинейны. Были такие. Наверное, эти недостатки существовали. Каждое поколение имеет свои изъяны. Но стойкости мы учились у них. И мужеству, и убежденности. Что-то было в этом, теперь уже уходящем поколении, что-то завидное, цельное, что ныне, спустя десятилетия, стало виднее. Это были исполненные веры люди, не знающие сомнения, и, может, именно эти качества, вместе взятые, помогли нам — и старым, и молодым — довести войну до победы.

В старых, потрепанных справках написано:

«На тов. Вилор Клавдию Денисовну мы, граждане поселка Марфинка, даем доверительные подписки.

...Она осторожно и умело сообщала об огромнейшей мощи и высокой технике Красной Армии и с большой точностью и уверенностью сообщала, что в последних числах августа 1943 года

наш район будет полностью освобожден от фашистского ига, что в действительности и случилось».

Они читаются как справки о чуде, о верности, о любви, как справки, данные в оправдание прожитой жизни. Никогда я не думал, что подобные канцелярские справки существуют...

1975